

Александр Павлович Чудаков (2 февраля 1938, Щучинск, Казахская ССР — 3 октября 2005, Москва, Россия) — российский литературовед и писатель, специалист по Чехову. Был женат на литературоведе и общественном деятеле Мариэтте Чудаковой. В 1960 закончил филологический факультет МГУ. С 1964 работал в Институте мировой литературы, преподавал в МГУ, Литературном институте. Доктор филологических наук (1983). После 1987 читал русскую литературу в европейских и американских университетах. Состоял в Международном Чеховском обществе. Чудакову принадлежат следующие работы: «Поэтика Чехова» (1971, английский перевод — 1983), «Мир Чехова: Возникновение и утверждение» (1986), «Слово — вещь — мир: от Пушкина до Толстого» (1992). Помимо этого он опубликовал более двухсот статей по истории русской литературы, готовил и комментировал сборники произведений Виктора Шкловского, Юрия Тынянова. В 2000 в журнале «Знамя» был напечатан роман Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», который номинировался на Букеровскую премию в 2001. Премия фонда «Знамя» 2000.

### Журнальный вариант

---

- [Александр Чудаков](#)
    - [Армреслинг в Чебачинске](#)
    - [Претенденты на наследство](#)
    - [Воспитанница института благородных девиц](#)
    - [Четвертая сибирская волна](#)
    - [Ты можешь ли Левиафана удою вытащить на брег?](#)
    - [Кавалер Большой Золотой медали Великого князя](#)
    - [Гений орфографии Васька Восемьдесят Пять](#)
    - [Кооперативный конь Мальчик, или Черепаха Наполеона](#)
    - [Натуральное хозяйство XX века](#)
    - [Землекопы и матросы](#)
    - [Вдовий угол](#)
    - [ООН](#)
    - [Гимн Советского Союза](#)
    - [Два горных инженера](#)
    - [Отважный пилот Гастелло](#)
    - [Приобретенные признаки наследуются](#)
    - [Вольф Мессинг,](#)
    - [Прекрасное есть революция](#)
    - [Псы](#)
    - [Отец](#)
    - [И все они умерли](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
-

**Александр Чудаков**

•

**ЛОЖИТСЯ МГЛА НА СТАРЫЕ СТУПЕНИ**

**Роман-идиллия**

# Армреслинг в Чебачинске

Дед был очень силен. Когда он в своей выгоревшей, с высоко подвернутыми рукавами рубаше работал на огороде или строгал черенок для лопаты (отдыхая он всегда строгал черенки, в сарае был их запас на десятилетия), Антон говорил про себя что-нибудь вроде: «Шары мышц катались у него под кожей» (Антон любил выразиться книжно). Но и теперь, когда деду было за девяносто, когда он с трудом потянулся с постели взять стакан с тумбочки, под закатанный рукав нижней рубашки знакомо покатился круглый шар, и Антон усмехнулся.

— Смеешься? — сказал дед. — Слаб я стал? Почему ты не говоришь мне, как герой вашего босяцкого писателя: «Что, умираешь?» И я бы ответил: «Да, умираю!»

А перед глазами Антона всплывала та, из прошлого, дедова рука, когда он пальцами разгибал гвозди или кровельное железо. И еще отчетливей — эта рука на краю праздничного стола со скатертью и сдвинутою посудой — неужели это было больше тридцати лет назад?

Да, это было на свадьбе сына Переплеткина, только что вернувшегося с войны. С одной стороны стола сидел сам кузнец Кузьма Переплеткин, и от него, улыбаясь смущенно, но не удивленно, отходил боец скотобойни Бондаренко, руку которого только что припечатал к скатерти кузнец в состязании, которое теперь именуют армреслинг, а тогда не называли никак. Удивляться не приходилось: в городке Чебачинске не было человека, чью руку не мог положить Переплеткин. Говорили, что раньше то же мог сделать еще его погибший в лагерях младший брат, работавший у него в кузне молотобойцем.

Дед аккуратно повесил на спинку стула черный пиджак английского бостона, оставшийся от тройки, сшитой еще перед первой войной, дважды лицованный, но все еще смотревшийся, и закатал рукав белой батистовой рубашки, последней из двух дюжин, вывезенных в пятнадцатом году из Вильны. Твердо поставил локоть на стол, сомкнул с ладонью соперника свою, и она сразу потонула в огромной разлапой кисти кузнеца.

Одна рука — черная, с вьезшейся окалиной, вся переплетенная не человеческими, а какими-то воловьими жилами («жилы канатами вздулись на его руках», — привычно подумал Антон). Другая — вдвое тоньше, белая, а что под кожей в глубине чуть просвечивали голубоватые вены, знал один Антон, помнивший эти руки лучше, чем материнские. И один Антон знал железную твердость этой руки, ее пальцев, без ключа отворачивающих гайки с тележных колес. Такие же сильные пальцы были еще только у одного человека — второй дедовой дочери, тети Тани. Оказавшись в войну в ссылке (как ЧСИР — член семьи изменника родины) в глухой деревне с тремя малолетними детьми, она работала на ферме дояркой. Об электродойке тогда не слыхивали, и бывали месяцы, когда она выдаивала вручную двадцать коров в день — по три раза каждую. Московский приятель Антона, специалист по мясо-молоку, говорил, что это все сказки, такое невозможно, но это было правда. Пальцы у тети Тани были все искривлены, но хватка у них осталась стальная; когда сосед, здороваясь, в шутку сжал ей сильно руку, она в ответ так сдавила ему кисть, что та вспухла и с неделю болела.

Гости выпили уже первые батареи бутылок самогона, стоял шум.

— А ну, пролетарий на интеллигенцию!

— Это Переплеткин-то пролетарий?

Переплеткин — это Антон знал — был из семьи высланных кулаков.

— Ну, а Львович — тоже нашел советскую интеллигенцию.

— Это бабка у них из дворян. А он — из попов.

Судья-доброволец проверил, на одной ли линии установлены локти. Начали.

Шар от дедова локтя откатился сначала куда-то в глубь засученного рукава, потом чуть

прикатился обратно и остановился. Канаты кузнеца выступили из-под кожи. Шар деда чуть-чуть вытянулся и стал похож на огромное яйцо («страусиное», подумал образованный мальчик Антон). Канаты кузнеца выступили сильнее, стало видно, что они узловаты. Рука деда стала медленно клониться к столу. Для тех, кто, как Антон, стоял справа от Переpletкина, его рука совсем закрыла дедову руку.

— Кузьма, Кузьма! — кричали оттуда.

— Восторги преждевременны, — Антон узнал скрипучий голос профессора Резенкампа.

Рука деда клониться перестала. Переpletкин посмотрел удивленно. Видно, он надал, потому что вспух еще один канат — на лбу.

Ладонь деда стала медленно подниматься — еще, еще, и вот обе руки опять стоят вертикально, как будто и не было этих минут, этой вздувшейся жилы на лбу кузнеца, этой испарины на лбу деда.

Руки чуть заметно вибрировали, как сдвоенный механический рычаг, подключенный к какому-то мощному мотору. Туда — сюда. Сюда — туда. Снова немного сюда. Чуть туда. И опять неподвижность, и только еле заметная вибрация.

Сдвоенный рычаг вдруг ожил. И опять стал клониться. Но рука деда теперь была сверху! Однако когда до столешницы оставался совсем пустяк, рычаг вдруг пошел обратно. И замер надолго в вертикальном положении.

— Ничья, ничья! — закричали сначала с одной, а потом с другой стороны стола. — Ничья!

— Дед, — сказал Антон, подавая ему стакан с водой, — а тогда, на свадьбе, после войны, ты ведь мог бы положить Переpletкина?

— Пожалуй.

— Так что ж?..

— Зачем. Для него это профессиональная гордость. К чему ставить человека в неловкое положение.

На днях, когда дед лежал в больнице, перед обходом врача со свитой студентов он снял и спрятал в тумбочку нательный крест. Дважды перекрестился и, взглянув на Антона, слабо улыбнулся. Брат деда о. Павел рассказывал, что в молодости тот любил прихвастнуть силой. Разгружают рожь — отодвинет работника, подставит плечо под пятипудовый мешок, другое — под второй такой же, и пойдет, не сгибаясь, к амбару. Нет, таким хва'стой деда представить было нельзя никак.

Любую гимнастику дед презирал, не видя в ней толку ни для себя, ни для хозяйства; лучше расколоть утром три-четыре чурки, побросать навоз. Отец был с ним солидарен, но подводил научную базу: никакая гимнастика не дает такой разносторонней нагрузки, как колка дров, — работают все группы мышц. Подначитавшись брошюр, Антон заявил: специалисты считают, что при физическом труде заняты как раз не все мышцы, и после любой работы надо делать еще зарядку. Дед и отец дружно смеялись: «Поставить бы этих специалистов на дно траншеи или на верх стога на полдня! Спроси у Василия Илларионовича — он по рудникам двадцать лет жил рядом с рабочими бараками, там все на виду, — видел он хоть одного шахтера, делающего упражнения после смены?» Василий Илларионович такого шахтера не видел.

— Дед, ну Переpletкин — кузнец. А в тебе откуда было столько силы?

— Видишь ли. Я — из семьи священников, потомственных, до Петра Первого, а то и дальше.

— Ну и что?

— А то, что — как сказал бы твой Дарвин — искусственный отбор.

При приеме в духовную семинарию существовало негласное правило: слабых, малорослых не принимать. Мальчиков привозили отцы — смотрели и на отцов. Те, кому предстояло нести

людям слово Божие, должны быть красивые, высокие, сильные люди. К тому ж у них чаще бывает бас или баритон — тоже момент немаловажный. Отбирали таких. И — тысячу лет, со времен святого Владимира.

Да, и о. Павел, протоиерей Горьковского кафедрального собора, и другой брат деда, что священствовал в Литве, и еще один брат, священник в Звенигороде, — все они были высокие, крепкие люди. О. Павел отсидел десятку в мордовских лагерях, работал там на лесоповале, а и сейчас, в девяносто лет, был здоров и бодр. «Поповская кость!» — говорил отец Антона, садясь покурить, когда дед продолжал не торопясь и как-то даже незвучно разваливать колуном березовые колоды. Да, дед был сильнее отца, а ведь и отец был не слаб — жилистый, выносливый, из мужиков-однодворцев, выросший на тверском ржаном хлебе, — никому не уступал ни на покосе, ни на трелевке леса. И годами — вдвое моложе, а деду тогда, после войны, перевалило за семьдесят, был он темный шатен, и седина лишь чуть пробивалась в густой шевелюре. А тетка Тамара и перед смертью, в свои девяносто, была как вороново крыло.

Дед не болел никогда. Но два года назад, когда младшая дочь, мать Антона, переехала в Москву, у него вдруг начали чернеть пальцы на правой ноге. Бабка и старшие дочери уговаривали сходить в поликлинику. Но в последнее время дед слушался только младшую, ее не было, к врачу не пошел — в девяносто три ходить по врачам глупо, а ногу показывать перестал, говоря, что все прошло.

Но ничего не прошло, и когда дед все же показал ногу, все ахнули: чернота дошла до середины голени. Если б захватили вовремя, можно было бы ограничиться ампутацией пальцев. Теперь пришлось отрезать ногу по колену.

Ходить на костылях дед не выучился, оказался лежачим; выбитый из полувекового ритма целодневной работы на огороде, во дворе, загрустил и ослаб, стал нервным. Сердился, когда бабка приносила завтрак в постель, перебирался, хватаясь за стулья, к столу. Бабка по забывчивости подавала два валенка. Дед на нее кричал — так Антон узнал, что дед умеет кричать. Бабка пугливо запихивала второй валенок под кровать, но и в обед, и в ужин все начиналось снова. Убрать второй валенок почему-то догадались не сразу.

В последний месяц дед совсем ослабел и велел написать всем детям и внукам, чтобы приехали проститься и «заодно решить кое-какие наследственные вопросы», — эта формулировка, говорила внучка Ира, писавшая письма под его диктовку, повторялась во всех посланьях.

— Прямо как в повести известного сибирского писателя «Последний срок», — говорила она. Библиотекарша районной библиотеки, Ира следила за современной литературой, но плохо запоминала фамилии авторов, жалуясь: «Их так много».

Антон подивился, прочитав в письме деда о наследственных вопросах. Какое наследство? Шкаф с полусотней книг? Столетний, еще виленский, диванчик, который бабка называла козеткой? Правда, имелся дом. Но он был старый и ветхий. Кому он нужен? Недаром по дедовым письмам никто не приехал.

Но Антон ошибался. Из тех, кто жил в Чебачинске, на наследство претендовали трое.

# Претенденты на наследство

Свою тетку Татьяну Леонидовну Антон не узнал в старухе, встречавшей его на перроне. «Годы наложили неизгладимый отпечаток на ее лицо», — подумал Антон.

Среди пяти дедовых дочерей Татьяна считалась самой красивой. Она раньше всех вышла замуж — за инженера-путейца Татаева, человека честного и горячего. В середине войны он дал по морде начальнику движения. Тетя Таня никогда не уточняла за что, говоря только: «ну, это был мерзавец».

Татаева разбронировали и отправили на фронт. Он попал в прожекторную команду и как-то ночью по ошибке осветил не вражеский, а свой самолет. Смершевцы не дремали — его арестовали тут же, ночь он провел в ихней арестной землянке, а утром его расстреляли, обвинив в преднамеренных подрывных действиях против Красной Армии. Впервые услышав эту историю в пятом классе, Антон никак не мог понять, как можно было сочинить подобную чушь, что человек, находясь в расположении наших войск, среди своих, которые тут же должны были его схватить, сделал бы такую глупость. Но слушатели — два солдата Великой Отечественной — нисколько не удивились. Правда, реплики их — «разнарядка?», «не добирали до цифры?» — были еще непонятней, но Антон вопросов никогда не задавал и, хоть его никто не предупреждал, нигде домашних разговоров не пересказывал — может, поэтому при нем говорили не стесняясь. Или думали, что он еще мало что понимает. Да и комната одна.

Вскоре после расстрела Татаева его жену с детьми: Вовкой шести лет, Колькой — четырех и Катькой — двух с половиной отправили в пересыльную тюрьму в казахстанский город Акмолинск; четыре месяца она ждала приговора и была выслана в совхоз Смородиновка Акмолинской области, куда они добирались на попутных машинах, подводах, быках, пешком, шлепая в валенках по апрельским лужам, другой обуви не было — арестовали зимой.

В поселке Смородиновка тетя Таня устроилась дояркой, и это была удача, потому что каждый день она в грелке, спрятанной на животе, приносила детям молоко. Никаких карточек ей как ЧСИР не полагалось. Поселили их в телятнике, но обещали землянку — вот-вот должна была умереть ее обитательница, такая же ссыльно-поселенка; каждый день посылали Вовку, дверь не запиралась, он входил и спрашивал: «Тетенька, вы еще не померли?» — «Нет еще, — отвечала тетенька, — приходи завтра». Когда она наконец умерла, их вселили на условия, что тетя Таня покойницу похоронит; с помощью двух соседок она повезла на ручной тележке тело на кладбище. Новая насельница впряглась в ручки-оглобли, одна соседка подталкивала тележку, то и дело застревавшую в жирном степном черноземе, другая придерживала завернутое в мешковину тело, но тележка была маленькая, и оно все время падало в грязь, мешок скоро стал черный и липкий. За катафалком, растянувшись, двигалась похоронная процессия: Вовка, Колька, отставшая Катька. Однако счастье было недолгим: тетя Таня не ответила на притязания заведующего фермой, и ее из землянки снова выселили в телятник — правда, другой, лучший: туда поступали новорожденные телки. Жить было можно: помещение оказалось большое и теплое, коровы телились не каждый день, случались перерывы и по два, и даже по три дня, а на седьмое ноября вышел праздничный подарок — ни одного отела целых пять дней, все это время в помещении не было чужих. В телятнике они прожили два года, пока любвеобильного заведующего не пырнула вилами-трехрожками возле навозной кучи новенькая доярка — чеченка. Пострадавший, дабы не подымать шуму, в больницу не обратился, а вилы были в навозе, через неделю он умер от общего сепсиса — пенициллин в этих местах появился только в середине пятидесятых.

Всю войну и десять лет после тетя Таня проработала на ферме, без выходных и отпусков, на

руки ее страшно было смотреть, и сама она стала худа до прозрачности — пройди-свет.

В голодном сорок шестом бабка выписала старшего — Вовку — в Чебачинск, и он стал жить с нами. Был он молчалив, никогда ни на что не жаловался. Сильно порезав однажды палец, залез под стол и сидел, собирая капавшую кровь в горсть; когда наполнялась, осторожно выливал кровь в щель. Он был старше меня на два года, но пошел только в первый класс, я же, поступив сразу во второй, был уже в третьем, чем перед Вовкой страшно задавался. Наученный дедом читать так рано, что не помнил себя неграмотным, высмеивал читавшего по складам братца. Но недолго: читать он научился быстро, а складывал и умножал в уме к концу года уже лучше меня. «В отца, — вздыхала бабка. — Тот все расчеты делал без логарифмической линейки».

Тетрадей не было; учительница сказала, чтобы Вовке купили какую-нибудь книгу, где бумага побелее. Бабка купила «Краткий курс истории ВКП(б)» — в магазине, где продавался керосин, графины и стаканы производства местного стекольного завода, деревянные грабли и табуретки местного же промкомбината, стояла еще и эта книга — целая полка. Бумага в ней была наилучшая; Вовка выводил свои крючки и «элементы букв» прямо поверх печатного текста. Перед тем как текст навсегда пропадал за ядовитыми фиолетовыми элементами, мы его внимательно прочитывали, а потом экзаменовали друг друга: «У кого был мундир английский?» — «У Колчака». — «А табак какой?» — «Японский». — «А кто ушел в кусты?» — «Плеханов». Вторую часть этой тетрадки Вовка озаглавил «Рыхметика» и решал там примеры. Начиналась она на знаменитой четвертой — философской — главе «Краткого курса». Но учительница сказала, что под арифметику надо завести особую тетрадь — для этого отец дал Вовке брошюру «Критика готской программы», но она оказалась неинтересной, только предисловие — какого-то академика — начиналось хорошо, со стихов, правда, записанных не в столбик: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма».

Вовка проучился в нашей школе только год. Я писал ему письма в Смородиновку. Видимо, в них было что-то обидное и хвастливое, потому что Вовка вскоре прислал мне в ответ письмо-акrostих, который расшифровывался так: «Антоша англичанин хвастунок». Центральное слово составилось из стихов: «А ты все же задаешься, Надо меньше воображать, Говоришь, хотя смеешься, Лишь не надо обзывать. И хотя английский учишь, Часто это не пиши, А как это ты получишь, Напиши мне от души» и т. д.

Я был потрясен. Вовка, который всего год назад на моих глазах читал по слогам, теперь писал стихи — да еще акrostихи, о существовании которых в природе я и не подозревал! Много позже Вовкина учительница говорила, что другого такого способного ученика не помнит за тридцать лет. В своей Смородиновке Вовка окончил семь классов и школу трактористов и комбайнеров. Когда я приехал по письму деда, он жил все там же, с женой-дойаркой и четырьмя детьми.

Тетя Таня вместе с остальными детьми перебралась в Чебачинск; мой отец вывез их из Смородиновки на грузовике вместе с коровой, настоящей симменталкой, которую бросать было жалко; всю дорогу она мычала и стучала рогами о борт. Потом он устроил среднего, Кольку, в школу киномехаников, что было не так просто, — после плохо залеченного в детстве отита он оказался глуховат, но в комиссии сидел бывший ученик отца. Начав работать киномехаником, Колька проявил необычайную разворотливость: продавал какие-то поддельные билеты, которые подпольно ему печатали в местной типографии, на сеансах в туберкулезных санаториях с больных брал плату. Жулик из него вышел первостатейный. Интересовали его только деньги. Нашел богатую невесту — дочь известной местной спекулянтки Мани Делец. «Ляжет под одеяло, — жаловалась свекрови молодая в медовый месяц, — и отвернется к стенке. Я и грудью, и всем прижимаюсь, и ногу на него кладу, а потом тоже отвернусь. Так и лежим,

задница к заднице». После женитьбы купил себе мотоцикл — на машину теща денег не дала.

Катька в первый год жила у нас, но потом ей пришлось от жилья отказаться — с первых дней она подворовывала. Очень ловко крала деньги, спрятать которые от нее не было никакой возможности — она находила их в швейной шкатулке, в книгах, под радиоприемником; брала только часть, но ощутимую. Мама обе зарплаты, свою и отцовскую, стала носить в портфеле в школу, где он в безопасности валялся в учительской. Лишившись этого дохода, Катька стала таскать чайные серебряные ложки, чулки, однажды украла трехлитровую банку подсолнечного масла, за которым Тамара, другая дочь деда, стояла в очереди полдня. Мама определила ее в медучилище, что тоже было непросто (училась она скверно) — опять же через бывшую ученицу. Став медсестрой, жулила не хуже братца. Делала какие-то левые уколы, таскала из больницы лекарства, устраивала липовые справки. Оба были жадны, постоянно врали, всегда и везде, в крупном и в мелочах. Дед говорил: «Они виноваты только наполовину. Честная бедность — всегда бедность до определенных пределов. Здесь же была нищета. Страшная — с младенчества. Нищие не бывают нравственными». Антон деду верил, но Катьку и Кольку не любил. Когда дед умер, его младший брат, священник в Литве, в Шауляе, где когда-то было имение их отца, прислал на погребение крупную сумму. Почтальонку встретил Колька и никому ничего не сказал. Когда от о. Владимира пришло письмо, все вскрылось, но Колька заявил, что деньги положил на окошко. Сейчас тетя Таня жила у него, в казенной квартире при кинотеатре. На дом зарился, видимо, Колька.

Старшая дочь Тамара, всю жизнь прожившая со стариками, так и не вышедшая замуж, доброе, безответное существо, и не догадывалась, что может на что-то претендовать. Она варила, стирала, мыла полы, топила печь, гоняла корову в стадо. Стадо пастух пригонял вечером только до околицы, где коров разбирали хозяйки, а коровы, которые умные, шли дальше сами. Наша Зорька была умная, но иногда что-то на нее находило и она убегала за речку к Каменухе или еще дальше — в излоги. Корову надо было найти до темноты. Бывало, что ее искали дядя Леня, дед, даже мама, я пробовал трижды. Никто не нашел ни разу. Тамара находила всегда. Мне эта ее способность казалась сверхъестественной. Отец объяснял: Тамара знает, что корову *надо* найти. И находит. Это было не очень понятно. В работе она была целыми днями, только по воскресеньям бабка отпускала ее в церковь, да иногда поздно вечером она доставала тетрадку, куда коряво переписывала детские рассказы Толстого, тексты из любого оказавшегося на столе учебника, что-нибудь из молитвенника, чаще всего одну вечернюю молитву: «И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире». Дети ее дразнили «Шоша», — не знаю, откуда это взялось, — она обижалась. Я не дразнил, давал ей тетрадки, потом привозил из Москвы кофточки. Но позже, когда Колька оттяпал у нее квартиру и запихнул ее в дом престарелых в далекий Павлодар, я только посылал туда изредка посылки и все собирался навестить — всего три часа лету от Москвы, — не навестил. От нее не осталось ничего: ни ее тетрадок, ни ее икон. Только одна фотография: обернувшись к камере, она выжимает белье. Пятнадцать лет она не видела ни одного родного лица, никого из нас, кого так любила и к кому обращалась в письмах: «Самые дорогие все».

Третьим претендентом был дядя Леня, самый младший из дедовых детей. Антон узнал его позже других своих дядек и теток — в тридцать восьмом году его призвали в армию, потом началась финская война (туда он попал как хороший лыжник — признался в этом единственный из всего батальона сибиряков), потом — отечественная, затем — японская, потом с Дальнего Востока его перебросили на крайний запад бороться с бендеровцами; из последней военной экспедиции он вынес два лозунга: «Хай живе пан Бендера та его жинка Параска» и «Хай живе двадцать восьма роковина жовтневої революції». Вернулся он только в сорок седьмом. Говорили: Лентя — везунчик, он был связистом, но его даже не ранили; правда, дважды



контузило. Тетя Лариса считала, что это отразилось на его умственных способностях. Она имела в виду то, что он с увлечением играл со своими малолетними племянниками и племянницами в морской бой и в карты, очень расстраивался, когда проигрывал, и поэтому часто жулил, пряча карты за голенища кирзовых сапог.

В конце войны дядя Леня под Белой Церковью познакомился с полячкой Зосей, которой слал из Германии посылки. Тетя Лариса спрашивала, почему он ничего ни разу не прислал старикам, а если уж все отсылал Зосичке, то чего ж к ней не едет. Он отмалчивался, но когда особенно приставала, говорил отрывисто: «Написала. Не приезжай». — «И ничего не объяснила?» — «Объяснила. Пишет: зачем приезжать».

С войны он пришел членом партии, но об этом дома узнали только тогда, когда кто-то из его теперешних сослуживцев-железнодорожников сказал бабке, что Леонида Леонидовича недавно исключили, так как он, встав на учет, ни разу не заплатил членские взносы. Вернулся он в медалях, только «За отвагу» было целых три. Антону больше всего нравилась медаль «За взятие Кенигсберга». Про войну дядя Леня не говорил ни слова, а когда пробовали расспрашивать, как и что, говорил только: «Что, что. Таскал катушку». И никаких чувств не обнаруживал. Только раз Антон видел, как он разволновался. Приехавший из Саратова на золотую свадьбу стариков его старший брат Николай Леонидович, закончивший войну на Эльбе, рассказал, что у американцев вместо катушек и провода была радиосвязь. Дядя Леня, обычно глядевший в землю, вскинул голову, что-то хотел сказать, потом снова опустил голову, на его глазах показались слезы. «Что с тобой, Лентя?» — поразилась тетя Лариса. «Ребят жалко», — сказал дядя Леня, встал и вышел.

У него был блокнот, куда он на фронте списывал песни. Но после песни про синенький скромный платочек шла «Молитва митрополита Сергия, мостоблюстителя»: «Помози нам Боже, Спасителю наш. Восстани в помощь нашу и подаждь воинству нашему о имени Твоем победити; а им же судил еси положити на брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведного воздаяния Твоего воздай венцы нетления».

Все было очень красиво: «подаждь», «венцы нетления», непонятно было только, кто такой «мостоблюститель». Антон спросил у деда, тот долго смеялся, вытирая слезы, и позвал смеяться бородатого старика, бывшего дьякона, которого бабка кормила на кухне затирухой, но все же объяснил и добавил, что Сергей теперь уже не местоблюститель патриаршего престола, а патриарх. Потом они долго спорили с бороватым, надо ли было восстанавливать патриаршество.

Дядя Леня дошел до Берлина. «На рейхстаге расписался?» — «Ребята расписались». — «А ты чего ж?» — «Ме'ста снизу на стенах. Уже не было. Говорят: ты здоровый. На плечи мне встал один. На него — другой. Тот расписался».

Вскоре он женился. Невеста была вдова с двумя детьми. Но бабке это скорее даже нравилось: «Что ж им теперь, бедным, делать». Не нравилось ей другое — что жена сына курит и пьет — сам он за годы службы в армии курить не научился и хмельного в рот не брал (на работе его считали баптистом: не только не пьет, но и не матерится). «Ну что ж, можно, понять, — говорила тетя Лариса. — Человек десять лет воевал. Одно место уже не выдерживает». Жена его через несколько лет уехала на заработки на Север, оставив ему детей, как выяснилось, насовсем; он нашел вторую, которая тоже курила и пила уже по-черному. В пьяном виде она сильно обморозилась и умерла, от нее тоже остался ребенок. Дядя Леня женился снова, но и третья жена оказалась пьющей. Впрочем, каждый год исправно рожала.

Из-за всех этих матримониальных дел жил дядя всегда в каких-то хибарах, а одно время со всем выводком даже в землянке, которую сам отрыл по всем правилам (Антон, присочиняя, рассказывал своему другу Ваське Гагину, что саперной лопаткой) и накрыл отслужившими срок шпалами, выделенными ему на железной дороге. Эти шпалы он сам перетаскал с путей, где их

заменяли, на плече, за пять километров («на избенку эту бревнышки он один таскал сосновые»), был силен, в деда. «Ты бы автомобиль попросил, — жалела бабка. — Вон Гурка с вашей же дороги дрова на казенном авто привез». — «Просил. Не дают, — отрывисто говорил дядя Леня. — Не тяжело. Пушки. Когда из грязи. Вытаскивали. Намного тяжелей». Приехавший как раз тогда дядя Коля, в войну артиллерийский капитан, посетивши его жилище, поинтересовался, почему землянка в два наката: «Артналета ждешь, что ли?» — «Шпал столько выписали. Сказали, все надо забрать», — пробурчал дядя Леня.

Ему дедов дом, пожалуй, был нужнее всех.

# Воспитанница института благородных девиц

Еще на чебачинском вокзале Антон спросил у тети Тани: отчего дед все время пишет о каких-то наследственных вопросах? Почему он просто не завещает все нашей бабе?

Тетя Таня объяснила: с тех пор как деду ампутировали ногу, мать подалась. Никак не могла запомнить, что деду не нужно приносить два валенка, и всякий раз принималась искать второй. Все время говорила про отрезанную ногу, что надо ее похоронить. А в последнее время повредилась совсем — никого не узнает, ни детей, ни внуков.

— Но ее «мерси боку» всегда при ней, — с непонятным раздражением сказала тетка. — Сам увидишь.

Поезд сильно опоздал, и когда Антон вошел, обед уже был в разгаре. Дед лежал у себя — туда предполагался отдельный визит. Бабка сидела на своем плетеном диванчике а la Луи Каторз, том самом, который вывезли из Вильны, когда бежали от немцев еще в ту германскую. Сидела необычайно прямо, как из всех женщин мира сидят только выпускницы институтов благородных девиц.

— Добрый день, bonjour, — ласково сказала бабка и царственным движением протянула руку с полуопущенной кистью — нечто подобное Антон видел у Гоголевой в роли королевы в «Стакане воды». — Как voyage? Пожалуйста, позаботьтесь о приборе гостю.

Антон сел, не сводя глаз с бабки. На столе возле нее, как и раньше, на специальных зубчатых колесиках, соединенных блестящей осью, располагался столовый прибор из девяти предметов: кроме обычных вилки и ножа, специальные — для рыбы, особый нож — для фруктов, для чего-то еще крохотный кривой ятаганчик, двузубая вилка и нечто среднее между чайной ложкой и лопаточкой, напоминающее миниатюрную совковую лопату. Владеть этими предметами Ольга Петровна пыталась приучить сначала своих детей, потом внуков, затем правнуков, однако ни с кем в том не преуспела, хотя применяла при наставленьях очень увлекательную, считалось, игру в вопросы-ответы — название, впрочем, не совсем точное, потому что всегда и спрашивала и отвечала она сама.

— В чем сходство между дыней и рыбой? Ни ту, ни другую нельзя есть с помощью ножа. Дыню — только десертной ложкой.

— А какую рыбу можно есть с ножом? Только маринованную селедку.

— Что можно есть руками? Раков и омаров. Рябчика, куру, утку — только с использованием ножа и вилки.

Но, увы, руками мы ели не омаров, а кур, обгрызая косточки до последнего волоконецка, да еще их потом и обсасывая. Сама бабка до этого не унижалась, что хорошо знал кот, норовивший получить косточку от нее — там, он помнил, остается кое-что после вилки и ножа. Пользовалась бабка всегда всеми девятью предметами. Впрочем, и обычными она действовала с непостижимым искусством — небрежными, почти незаметными движеньями намотанные на ее вилку тонкие макароны напоминали обмотку трансформаторной катушки. Кроме столовоприборных, были у нее и другие вещи специального назначения — например, трубчатые щипцы с ручками из слоновой кости для растяжки бальных перчаток; в действии их Антону увидеть не пришлось.

— Кушайте. Салфетное кольцо не пусто?

Антон освободил салфетку; он хорошо помнил, как бабка осуждала дом какого-то вице-губернатора, где горничная была грязнуля, ножи и вилки — мельхиоровые, а салфетки — без колец, и ставили их на стол колпаками, как в ресторане. Впрочем, и гости были не лучше — затыкали салфетки за воротник. Вице-губернатор был из выскочек, из тех, что появились после

самой первой революции, вообще мерзавец, без молитвы мимо не пройдешь. Вот виленский губернатор, Николай Алексеевич Любимов, был достойный человек, хорошего рода. Только сын у него получился неудачный, была какая-то неприятная история с гранатовым браслетом — про это даже что-то напечатал один известный писатель.

— Отведайте настойки.

Антон выпил настойки на смородиновом листе — из серебряной стопки со знакомой с детства надписью по кромке; если стопку поворачивать, можно было прочесть такой диалог: «Винушко, лейся мне в горлышко. — Хорошо, солнышко».

Обед был превосходный; бабка и ее дочери были кулинарками высокого класса. Когда, еще в Вильне, в конце девятисотых, отец бабки Петр Сигизмундович Налочь-Длусский-Скłodовский проиграл в карты в дворянском собрании свое имение, семья переехала в город и впала в бедность, мать открыла «Семейные обеды». Обедом полагалось быть хорошими: пансионеры, молодые холостяки — адвокаты, педагоги, чиновники — это же всё были приличные люди! Дед, окончив Виленскую духовную семинарию, ожидал места. Приход можно было получить двумя путями: женитьбой на дочери священника или по его смерти. Первый вариант деда почему-то не устраивал, второго приходилось ожидать неопределенно долго; все это время консистория выплачивала кандидату содержание. Дед ждал уже два года, ему надоело питаться в кухмистерских («все эти трактиры, народные столовые в России всегда были скверные — даже до большевиков»); увидев в «Виленском вестнике» объявление, он пришел в тот же день. Его оставили обедать — бесплатно, разумеется, все в первый раз у прабабки обедали *gratis*, не может же приличный господин покупать кота в мешке! Матери помогала семнадцатилетняя Оля, только что выпущенная из института благородных девиц и успешно овладевавшая поварским искусством. И Оля, и обеды деду настолько понравились, что он обедал целый год, пока не сделал предложение. Над бабкиными консоме, деволяй, уткой на канапе, соусом *a la Субиз* в Чебачинске посмеивались, отец любил вернуть, что в «Национале» котлеты мягче («будут мягче, когда половина хлеба»), и Антон ждал, что уж в Москве... Но теперь, побывав и в других столицах, он говорил: лучше, чем у бабки, не едал нигде и никогда. Дочерей бабка тоже выучила готовить.

Под вторую перемену блюд бабка всегда начинала светскую беседу.

— Кажется, сегодня прекрасная погода. Передайте, пожалуйста, соль. Благодарствуйте, вы так добры.

Знаменитые вилочки так и мелькали в ее пальцах; не глядя, она возвращала каждую точно на свое колесико. Протянув руку, она машинально вынула из пальцев Антона кусок хлеба и положила на мелкую тарелку, до этого непонятно пустующую слева: хлеб полагалось не откусывать от целого ломтя, а отламывать маленькими кусочками.

— А почему говорят, — шепнул Антон тете Тане, — что баба наша не в себе? По-моему, как всегда.

— Подожди.

— Замечательная погода, — продолжала держать стол Ольга Петровна, — вполне пригодная для прогулки в экипаже...

В ее глазах что-то прошло, и она добавила:

— Или на моторе. Солнце уже почти осеннее, можно без вуали. Если на даче — в панамской шапочке. А ты давно из Саратова? — бабка вдруг переменяла тему.

— Из Саратова? — несколько опешил Антон.

— А разве ты не живешь со своей семьей? Впрочем, теперь это модно.

Бабка спутала Антона с Николаем Леонидовичем, своим старшим сыном, который жил в Саратове и тоже должен был приехать. Был он девятьсот пятого года рождения.

Но беседа вернулась к темам еды и погоды, все опять было мило и очень светски.

За чаем Антон поймал себя на том, что твердо помня — торт надо есть, держа ложечку в левой руке, он совершенно забыл, в какую сторону должна глядеть ручка чашки перед чаепитием, а в какую — в его процессе, помнил только, что бабка придавала этому большое значение.

Кто-то из обедавших, размешивая сахар, звякнул ложкой; Ольга Петровна вздрогнула, как от боли. Она с беспокойством оглядела стол:

— А где третье? По-моему, мы варили... как его? этот напиток из фруктов.

— Компот! Позавчера, — замахала руками Тамара, — позавчера его варили!

— Баба, а ты не расскажешь, — решил Антон продлить светский разговор, — про бал в Зимнем дворце?

— Да. Большой бал. Их величества... — бабка замолчала и стала промокать глаза кружевным платочком.

— Не надо, не надо, — забеспокоилась Тамара. — Она не помнит.

Но Антон помнил и сам — дословно — рассказ про Большой зимний бал во дворце, куда бабка попала как первая ученица Виленского института благородных девиц в год его окончания.

В десять часов в Николаевскую залу вошли под руку Их Величество Государь Император и Государыня Императрица Александра Федоровна. Государь был в мундире лейб-гвардии уланского Ее Величества Государыни Императрицы полка и в Андреевской ленте через плечо. Государыня — в дивном бальном золотом туалете, отделанном панделюками из топазов. У плеч Ее Величества и посреди корсажа платье украшали аграфы из крупнейших бриллиантов и жемчужин, а голову Государыни венчала диадема из того же драгоценного жемчуга и бриллиантов. Еще Ее Величество тоже имела Андреевскую ленту через плечо. Их Величества сопровождала гостившая тогда в столице испанская инфанта Евлалия. Она была в атласном дюшес платье, отделанном соболями, тоже в жемчуге и бриллиантах. Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Мария Павловна была в бледно-розовом платье, обрамленном как бы золотым шитьем, в бриллиантовых с сапфирами диадеме и ожерелье.

Обед окончился; Тамара помогла бабе встать; Ольга Петровна удивленно на нее посмотрела, но, наклонив голову, сказала:

— Спасибо, добрая бабушка, что вы мне помогаете, вы так милы.

Мир для бабки был в густом тумане, все сместилось и ушло — память, мысль, чувства. Незатронутым осталось одно: ее дворянское воспитание.

Своим дворянством бабка не кичилась, это было в сороковые годы естественно, но его и не скрывала (что в те же сороковые было естественно гораздо менее), при случае спокойно подчеркивая социальную дистанцию — например, когда слышала, что некто, поранив руку, залепил рану пыльной паутиной из угла сарая, получил заражение крови и умер.

— Что с них возьмешь? Простонародье!

Но ее жизнь от жизни этого простонародья отличалась мало или была даже тяжелее, в грязи она возилась больше, потому что не просто стирала белье на одиннадцать человек, а находила в себе силы его еще отбеливать и крахмалить; после этого оно целый день висело в палисаднике, полощась на ветру или колом застывая на морозе; скатерти, полотенца, простыни, наволочки пахли ветром и яблоневым цветом или снегом и морозным солнцем; белья такой живой свежести Антон не видел потом ни в профессорских домах в Америке, ни в пятизвездном отеле Баден-Бадена. Полы она мыла не раз в неделю, а через день; в своей комнате не давала красить, Тамара скребла их ножом; не существовало большего наслаждения, чем пройтись летом босиком по только что выскобленному высохшему полу, особенно по тем местам, где лежали желтые теплые солнечные пятна. Одежда она вытряхивала ежедневно во дворе, это надо было делать

вдвоем, и бабка безжалостно отрывала всякого, кто случался дома, от его занятий; между пушечными хлопками одеяла она говорила:

— Вчера! Вытряхивали! А видишь, сколько! Пыли! Теперь представь себе, что делается в городских одеялах, которые не вытряхивают годами!

Постели застилала сама — все остальные делали это неэстетично; мать из педагогических соображений заставляла Антона убирать свою постель, но бабка такое не поважала: это все толстовство, мальчик из хорошей семьи не должен этим заниматься (Антон так и не выучился, за что потом много претерпел в пионерлагерях, на турбазах и в семейной жизни). К внучкам бабка была не так снисходительна. Мальчик еще может позволить себе небрежность в уходе за руками. Но девушка! Мытье несколько раз в день. И с разбавленным о'де колёном!

— А почему это касается только девушек?

Бабка удивленно поворачивала голову — вбок и вверх:

— Потому, что ей могут поцеловать руку.

С внучками бабка иногда беседовала специально на темы светского этикета, применяя знакомую вопросно-ответную систему.

— Может ли девушка приехать с родителями на званый обед? Только тогда, если у хозяйки или выполняющей эту роль сестры или другой родственницы амфитриона есть дочери.

— Может ли девушка снимать перчатку? Может и должна, с правой руки, в церкви. С левой — никогда, она будет смешна!

— Имела ли девушка свою визитную карточку? Не имела. Она приписывала свое имя на карточке матери. Ну, молодой человек, понятно, обладал карточкой с раннего возраста.

С карточками вообще было сложно: не застав хозяев дома, оставляли карточку сильно загнутую с левой стороны кверху, при визите по случаю смерти или сороковин оставленную карточку полагалось загибать с правого бока вниз.

— Перед войной этот сгиб стали надрывать, — бабка возмущенно подымала голову и брови. — Но это уже дэкадэнтство.

— Баба, — спрашивал Антон студентом, — а почему во всей русской литературе ничего про это нет? Про это загибание справа, слева, вниз...

— А ты б хотел, чтобы вам это объяснял ваш босяк? — вмешивался дед, не упускавший случая вставить перо пролетарскому писателю.

Свои возраженья, где в виде примеров должны были фигурировать граф Толстой и Пушкин с его шестисотлетним дворянством, Антон проглатывал, но пытался иногда оспаривать нужность столь разветвленного этикета. Дед это решительно отметал, подчеркивая целесообразность этикетных правил.

— Мужчина дает даме правую руку. Вследствие этого она находится на удобнейшей стороне тротуара, не подвергаясь толчкам. На лестнице таким же образом дама тоже оказывается на предпочтительной стороне — у перил.

Бабка подхватывала тему и рассказывала, как надо ставить стекло и хрусталь на званых обедах: справа от прибора — стакан для красного вина, стакан для воды, бокал для шампанского, рюмку для мадеры, причем стаканы должны стоять рядом, бокал впереди и сбоку, а рюмка — с другого бока стаканов. Это каким-то сложным образом соотносилось с порядком подачи вин: после супа — мадера, за первым блюдом — бургонское и бордо, между холодными *entre'es* и жарким — шато-икем и так далее. У того же виленского вице-губернатора к устрицам подавали шабли. Страшная ошибка! Устрицы запивают только шампанским, в меру охлажденным. В меру! Сейчас почему-то думают, что оно должно быть ледяным. Это вторая страшная ошибка!

Иногда Антон спрашивал про мужской этикет и тоже узнавал много полезного: мужчина,

входящий в конку, в вагон — то есть в такое место, где все в шляпах, должен приподнять свою шляпу или дотронуться до нее.

Молодой человек, явившийся с визитом, оставляет в передней кашне, пальто, зонт и входит со шляпой в руке. Если окажется, что он должен иметь руки свободными, он ставит свою шляпу на стул или на пол, но никогда на стол.

Застрали в голове и другие бабкины высказыванья — видимо, из-за некоторой их неожиданности.

— Как всякий князь, он знал токарное дело.

— Как все настоящие аристократы, он любил простую пищу: щи, гречневую кашу...

В войну и после невиданными колерами на коленях, локтях, задах запестрели заплаты, к ним привыкли, на них не обращали вниманья. Замечала их, кажется, одна бабка; сама она дыры шгуковала так, что зашгукованное место можно было разглядеть только на свет; увидев особенно яркую или грубую заплату, говорила:

— Валансьен посконью штопают! Простонародье!

Но с этим простонародьем она общалась всего больше — главным образом из-за гаданья на картах. Гадала бабка почти каждый вечер. Два сына на войне, дочь в ссылке, зять расстрелян, другой — на фронте, племянница с дочерью под оккупацией, брат мужа в лагере — было о чем спросить у карт. Приходили погадать соседки, приводили своих соседок, не было ни одной, у которой все было благополучно, — или только такие и приходили?

Куда пойдешь, что найдешь, чем сердце успокоишь... Казенный дом, дорога, дорога, дорога...

На базаре бабка познакомилась с семьей Попенок, которые подзадержались и на ночь глядя не могли ехать за сорок километров в свою Успенно-Юрьевку. Разумеется, пригласила их переночевать; Попенки стали останавливаться у Саввиных всегда, когда приезжали на базар. Бабка оправдывалась тем, что они дешево продают ей гусей — по пятьдесят рублей. Правда, тетя Лариса смеясь рассказывала, что как-то случайно увидела, что таких же гусей на базаре они продавали по 45 рублей. Их лошадь, конечно, всю ночь хрупала саввинское сено, съедая пятидневную коровью норму, но об этом тоже говорили со смехом. Недели три в доме жила дочь Попенок: у бабы был рефлектор с синей лампочкой, а у девицы — какая-то опухоль; каждый вечер она этим рефлектором грела свою пышную белую грудь, которая под светом лампы делалась голубой; Антон, не отрываясь, глядел на эту грудь весь сеанс; девица почему-то не прогоняла его и только время от времени на него странно поглядывала.

Месяца три на бабкином сундуке жила старуха Самсонова, вдова расстрелянного омского генерал-губернатора (Антон забыл только — царского или колчаковского), говорившая, что у нее рак и что она умрет вот-вот, и просившая только немного подождать, но все почему-то не умирала. Антон знал, почему. В том самом сундуке он давно заприметил коробочку с пилюлями «Пинкь»; на коробочке было написано, что они восстанавливают расслабленные силы и безвредны для самых нежных лиц. Так как никто в доме больше не болел, Антон пересыпал пилюли в бумажный фунтик и отдал старухе. Бабка потом пристроила старуху в дом престарелых в Павлодар, где та умерла в возрасте ста двух лет и где ее еще застала Тамара, попавшая в этот дом после смерти деда и бабы через два десятилетия.

Из людей света, как их называла бабка, знакомых у нее было двое: англичанка Кошелева-Вильсон и племянник графа Стенбок-Фермора.

Вильсон была единственная, кто вместе с бабкой пользовался всеми предметами ее столового прибора; перед ее визитом бабка отказывалась от своего яйца, чтобы сделать ей яичницу стрелягу-верещагу: тонкие ломтики сала зажаривались до каменной твердости, трескали и стреляли, у англичанки называлось: омлет с беконом. Была она немолода, но всегда ярко

нарумянена, за что местные дамы ее осуждали. Она была замужем за англичанином, но когда ее двадцатилетний сын утонул в Темзе, не захотела видеть Лондон ни одного дня! И вернулась в Москву. Год шел мало подходящий, тридцать седьмой, и она вскоре оказалась сначала в Карлаге, а потом в Чебачинске; жила она частными уроками.

Антон очень любил слушать их разговоры.

— Всем было известно, — начинала англичанка, — что великий князь Владимир Павлович состоял на содержании у известной парижской портнихи мадам Шанель — ее мастерская, не помните? на улице Камбой.

— И говорит, — возмущалась кем-то бабка, — у меня кулон от Фраже. Она, видимо, хотела сказать: от Фаберже. Впрочем, для этих людей все едино — что Фраже, что Фаберже.

Вспоминая, Антон будет поражаться той горячности, с которой бабка рассказывала о таких случаях, — гораздо большей, чем когда она говорила о масштабных ужасах эпохи. Когда она сталкивалась с подобной возмутительной мелочью, ее покидала вся ее воспитанность. Как-то в библиотеке, куда бабка по утрам носила внучке Ире банку молока, бабка, ожидая, пока та отпустит читателя, услышала, как он сказал: «Ви'ктор Гю'го». Бабка встала, выпрямилась и, гневно бросив: «Викто'р Гюго'!», повернулась и вышла, не попрощавшись. «И еще грохнула дверью», — рассказывала удивленная Ира.

Поскольку было ясно, что рано или поздно все должны попасть в лагерь или ссылку, очень живо обсуждался вопрос, кто лучше это переносит. Племянник графа Стенбок-Фермора, оттрубивший десять лет лагеря строгого режима на Балхаше, считал: белая кость. Казалось бы, простонародью (он был второй человек, употребивший это слово) тяжелый труд привычней — ан нет. Месяц-другой на общих — и уже доходяга. А наш брат держится. Сразу можно узнать — из кадетов или флотский, да даже из правоведов. Видно это было, по словам Стенбока, исключительно по осанке. По его теории выходило еще, что эти люди и страдали меньше: богатая внутренняя жизнь, было над чем поразмышлять, что вспомнить. А мужик, рабочий? Кроме своей деревни или цеха и не видал ничего. Да даже и партиец-начальник: только-только хлебнул нормальной обеспеченной жизни — а его уже за зебры...

— Мужики вообще слабосильны, — вступала в разговор бабка. — Плохое питание, грязь, пьянство. Мой отец — потомственный дворянин, а был сильнее любого мужика, хоть физически работал только летом, в имении, да и лишь до того случая (случаем назывался роковой день, когда отец проиграл имение).

— Дед, а ты тоже из дворян? — спрашивал Антон.

— Из колокольных он дворян, — усмехалась бабка. — Из попов.

— Но зато отец деда был знаком с Игнатием Лукасевичем! — брякнул Антон. — Великим!

Все развеселились. Лукасевича, изобретателя керосиновой лампы, действительно в 50-е годы прошлого века знал прадед Антона, о. Лев.

— Вот так! — смеялся отец. — Это вам не родство с Мари Склодовской-Кюри!

Мари Кюри, урожденная Склодовская, была троюродной сестрою бабки (в девичестве Налочь-Длусской-Склодовской); бабка бывала в доме ее родителей и даже жила там на вакациях в одной комнате с Мари. Позже Антон пытался выпросить у бабки что-нибудь про открывательницу радия. Но бабка говорила только:

— Мари была странная девушка! Вышла замуж за этого старика Кюри!..

Англичанка рассказывала, какими сильными были английские джентльмены. В конторе какой-то шахты в Южной Африке всем предлагали поднять двумя пальцами небольшой золотой слиток. Поднявший получал его в подарок. Фокус был в том, что маленький на вид слиток весил двадцать фунтов. Рабочие-кайловщики, сильные негры, пробовали — не выходило. Поднял, конечно, англичанин, боксер, настоящий джентльмен. Правда, не удержал, уронил и золота не



получил. Но другие не смогли и этого.

— Дед бы поднял, — выпалил Антон. — Дед, почему ты не съездишь в Южную Африку?

Предложение всех надолго развеселило.

— Помещики были самые сильные? — интересовался Антон.

Бабка на секунду задумывалась.

— Пожалуй, попы. Посмотри на своего деда. А его братья! Да они что. Ты б видел своего прадеда, отца Льва! Богатырь! («Богатыри — не вы!» — подумал Антон). Дед привез меня в Мураванку, их именье, в сенокос. Отец Лев — на верху стога. Видел, как вершат стога? Один вверху, а снизу подают трое-четверо. Не успел, устал — завалят, навильники у всех приличные. Но отца Льва было не завалить — хоть полдюжины под стог ставь. Еще и покрикивает: давай-давай!

После таких разговоров перед сном подходило бормотать стихи:

Села барыня в рондо

И надела ротондо.

# Четвертая сибирская волна

Как быстро, без всяких телефонов, распространяются здесь слухи. Уже на второй день стали приходить знакомые. Первой нанесла визит давняя подруга матери — Нина Ивановна, она же домашний врач. Именно так она рекомендовалась, бывая проездом в Москве: «Алло, Антон! Говорит твой домашний врач». Почему — было неясно. В детстве Антон не болел ничем и никогда — ни корью или скарлатиной, ни простудой, хотя начинал бегать босиком еще в апреле, по весенней грязи, а кончал — по осенней, октябрьской; в мае купался с Васькой Гагиным в Озере, цепляясь за еще плавающие голубые льдины. Его двоюродные сестры и братья болели коклюшем и свинкой — он не заразился, хотя подъедал за ними молочную манную кашу с вареньем, которую им было трудно глотать из-за распухшего горла. Даже оспа почему-то у него не прививалась; на третий раз медсестра сказала, что больше не будет на этого странного ребенка переводить дефицитную вакцину. «У тебя надежная примета в случае чего, — сказал как-то свояк Толя, оперативник. — Отсутствие оспины на руке, редкое в твоём поколении». — «В случае чего?» — «А в случае необходимости опознания трупа». Антон и взрослым никогда не болел, и первая жена Света, часто хворавшая, в том его упрекала: «Ты не в состоянии понять больного человека».

В Чебачьем Нина Ивановна была человек известный: боролась за мытьё рук перед едой, против антигигиенического целования икон, выступала по местному радио, чтобы дети не ели стручки акаций и заячью капусту и не сосали глину. Когда маленький соседский сын, наевшись сладких плодов белены, помер, устроила в детской консультации щит, куда дед приклеил высушенный по всем гербарным правилам и выглядевший, как живой, куст, под которым мама красиво-зловещим шрифтом написала черною тушью: «Белена — яд!!!» Две медсестры несколько дней обходили все огороды, заставляя хозяев выпалывать ядовитое растение.

Пили редкостный напиток — индийский чай со слоном, Нине Ивановне его дарили бывшие пациенты. Вспомнили ее бедную дочь. После войны Нина Ивановна уехала ненадолго в Москву — что-то решать с бывшим мужем. Десятилетняя Инна занозила ногу, начался сепсис, без Нины Ивановны не достали редкий тогда пенициллин. Нина Ивановна всегда носила с собою ее фотографию — в гробу. Посмотрели фотографию.

Во время войны Нина Ивановна как педиатр была прикреплена к Копай-городу: там, в трех километрах от Чебачинска, разместили чеченцев и ингушей — спецпереселенцев (депортированными их тогда не называли).

...Холодный февральский день сорок четвертого года. Я стою во дворе, у калитки. По улице движется нескончаемый обоз. Это — чеченцы. Мне мешает смотреть шпакетник калитки, но я боюсь выйти на улицу, потому что про чеченцев все знаю — по колыбельной, которую мне перед сном поет бабка: «Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал». Надо мной смеются, но через несколько месяцев оказывается, что младенец был прав.

Одеты они совсем не по погоде — в какие-то легкие куртки с нашитыми как бы трубками, обуты в тонкие, как чулки, сапожки.

— В этих сапожках и черкесках только лезгинку танцевать, — сердито говорит подошедший сзади дед, — а не ездить в минус тридцать пять с северным ветром.

Про погоду дед знает все — он начальник и единственный сотрудник метеопункта, который располагается у нас же во дворе; дед бродит между приборами, смотрит в небо и четыре раза в сутки передает сведения в область, долго крутит ручку телефона, висящего на стене в кухне.

Мне сразу становится холодно, хотя одет я в теплую обезьянью дошку и меховую шапку, поверх которой натянут еще башлык-буденновка, и крест-накрест обвязан шерстяной шалью.

Чеченцев и ингушей выгрузили в голой степи, они нарыли себе землянок-нор — Копай-город. Рассказы Нины Ивановны о жизни в выдолбленных в мерзлом грунте и накрытых жердями землянках, где по утрам в зыбках находили младенцев с инеем на щеках, были страшны. В первые же дни новоселы образовали кладбище — за два-три года оно сравнялось с местным, которому было сорок лет.

Разъяснениям НКВД, что чеченцы и ингуши все поголовно сотрудничали с немцами, чебачинцы, ссыльных повидавшие, не верили и поначалу к спецпереселенцам относились сочувственно, давали лопаты, носилки, ведра, детям — молоко. Но отношение быстро стало ухудшаться. Началось с мелкого воровства: у соседей в огороде кто-то выкопал ночью лук. Решили: чеченцы, раньше такого не бывало, а они, известно, без лука жить не могут. Чеченские нищие были странные: не просили, а угрожали: «Дай хлеб, а то белье твое брошу с веревки». У бабки на базаре отстегнули старую огромную медную английскую булавку, которою она очень дорожила, — таких теперь не делают, а она скалывала ею концы пледа в мороз. «Будут они такими пустяками заниматься, — сердился дед. — Вот если б корову украли — это да». И как накликал. Вскоре поползли слухи: в Батмашке ингуши разбили стайку и угнали овец, в Успено-Юрьевке днем обчистили квартиру — взяли, что легко было унести — даже ложки и тазы. Их ловили, но за мелкое воровство не судили. Но вот в Котуркуле свели корову, потом в Валентиновке — еще одну. Лесник в Джаламбете встретил грабителей с ружьем — его застрелили из этого ружья. В том же Джаламбете увели двух коров и убили их хозяина. Страхи нарастали.

Рассказывали, что под Степняком вырезали целую семью. Воровство в Чебачинске бывало и раньше, но чеченцы показали, что такое настоящий горский разбой; по дворам поползло — «абреки», откуда-то не очень грамотные чебачинские казаки знали это слово.

Самый большой конфликт с чеченцами возник года через два после войны. Чеченские парни не хотели, чтоб их девица встречалась с русским трактористом, Васей, который пахал недалеко от Копай-города. Она сама бегала в поле, но чеченцы не сказали ей ни слова, а пошли напрямиком к трактористу. Двухметровый богатырь Вася, про которого говорили, что кулак у него с тыкву, послал их, завязалась драка, двум он мурсалки размазал, но их было пятеро, и вскоре Вася уже лежал и охал возле гусениц. Его друзья, работавшие невдалеке, двинулись на своих машинах боевым строем, как в фильме «Трактористы», на Копай-город и сравняли с землей две крайние землянки и землебитный домик. Чеченцы как-то быстро, без шума, собрались возле магазина, у всех на поясах кинжалы, и молча двинулись на трактора. И быть бы большой крови, но, по счастью, в магазине оказался мамин ученик Хныкин, бывший командир разведроты. Хныкин не боялся никого и ничего. Он стал перед гусеницами переднего трактора — и остановил. Потом медленно пошел через улицу прямо на чеченцев.

— У них правая рука на кинжале, — рассказывал он маме, — а у меня — в кармане.

— А там что?

— А ничего. Но они хоть и абреки, а простоваты. Да и представить не могли, что в такую толпу идет безоружный. Тем более в офицерском кителе.

— Что ж ты им сказал?

— Вам Казахстана мало? — говорю. — На Колыму захотели? — главное, спокойно эдак говорю, тихо, как бы сквозь зубы так. — Где старейшины? Поговорил с двумя, молодой переводил. Те сказали что-то, каждый буквально по два слова. Все повернулись молча и ушли. Ну а я — к нашим ребятам, уговаривать. Василий помог — явился, оклемавшись. Зла на них, толкует, не держу. Любовь — дело сурьезное. Я тоже двоим сопатки их абрекиские погладил, только хрустели... Добродушный он, Вася.

Говорили, что в банде Бибикова, отличавшейся особой жестокостью, состояли в основном

чеченцы. Потом выяснилось, что нерусских там вообще было только двое: белорус, приехавший с Петей-партизаном и тоже партизан, и один молодой ингуш.

Про Бибикова Антон вспомнил, когда пришла его одноклассница Аля и они пили чай — она тоже принесла со слонем. Аля стала очень похожа на свою покойную мать, — особенно теперь, во столько же лет, сколько было той, когда Антон увидел ее мертвой.

...После школы прибежал Васька Гагин: «Айда за речку! Зарезанную смотреть! Гад буду! Хрест на пузо!»

Мать Али лежала на дне телеги, ее голова была страшно запрокинута, вместо горла зиял кровавый провал. Стайка ребят стояла поодаль; все молча, зачарованно глядели в телегу.

Учительница Тальникова в день зарплаты возвращалась поздно вечером в свое село. В первом перелеске дорогу ее лошади — по древнему разбойничьему обычаю — перегородили несколько мужчин. Отобрали покупки, сумочку с деньгами. И уже было отпустили, но учительница вдруг узнала главаря — своего бывшего ученика: «Бибиков! И тебе не стыдно, Бибиков?» Да, это была банда Бибикова, бывшего разведчика, кавалера орденов Славы и Красной Звезды, которую вот уже полгода ловила вся местная милиция. В разведроту Бибиков был специалистом по бесшумному снятию часовых («финочкой, исключительно финочкой!»). На суде Бибиков мрачно буркнул: «Сама виновата. Кто за язык тянул?»

Дед нашел в энциклопедии, что чеченцев — полмиллиона, и с карандашом в руках высчитал, сколько сотен эшелонов надо было оторвать от военных перевозок, чтобы их вывезти. «К вам, Леонид Львович, — говорил отец, — только одна просьба. Не делитесь, прошу вас, ни с кем результатами ваших выкладок. Ведь Шаповалов уже не работает в нашем НКВД». Отец намекал на то, что его уже вызывали в эту организацию по поводу пораженческих высказываний деда. Но материалы попали тогда в руки бывшего дедова ученика и пока что все обошлось.

Чеченцы были последней из волн ссыльно-поселенцев, с начала тридцатых годов накатывавших на Чебачинск. Первой были кулаки из Сальских степей. Наслышанные об ужасах холодной Сибири и тайги, они после своих супесей и суглинков шалели от полуметрового казахстанского чернозема и дармового соснового леса. Скоро все они построили добротные пятистенки с глухими бревенчатыми заплотами на сибирский манер, завели обширные огороды, коров, свиней и через четыре-пять лет зажили богаче местных.

— Что вы хотите, — говорил дед, — цвет крестьянства. Не могут не работать. Да как! Вон что про Кувычку рассказывают.

Старший сын старика Кувычки, рассказывал его сосед по воронежской деревне, когда, женившись, отделился, получил три лошади. Вставал затемно и пахал на Серой. Когда она к полудню уставала, впрягал в плуг Вороного, который пасся за межой. Ближе к вечеру приводили Чалого, на коем пахал дотемна. Через два года он уже считался кулаком.

— А чего же этот цвет в колхозе ни черта не делает? — подкалывал отец.

— А с какой стати? Кто такой кулак? — дед поворачивался к Антону, который всегда слушал, широко раскрыв глаза, не перебивая и не задавая вопросов, и дед любил адресоваться к нему. — Кто он такой? Работающий мужик. Крепкий. Недаром — кулак, — дед сжимал ладонь в кулак так, что белели косточки. — Непьющий. И сыновья непьющие. И жен взяли из работающих семей. А бедняк кто? Лентяй. Сам пьет, отец пил. Бедняк — в кабак, кулак — на полосу, дотемна, до пота, да всей семьей. Понятно, у него и коровы, и овцы, и не сивка, а полдюжины гладких коней, уже не соха, а плуг, железная борона, веялка, конные грабли. На таких деревня и стояла... А кто был в этих комбедах? Раскулачивал кто? Та же пьянь и гольтыба. Придумали превосходно: имуществом раскулаченных распоряжается комбед. Не успеют телеги с ними за околицу выехать, как уже сундуки потрошат, перины тащат, самовары...

Дедова политэкономия была проста: государство грабит, присваивает все. Неясно ему было

только одно: куда оно это все деваает.

— Раньше владелец крохотной ово'шенной лавки кормился сам, кормил большую семью. А тут все магазины, универмаги, внешняя торговля принадлежит государству. Огромный оборот! Где, где это все?

В роскошную жизнь членов ЦК он не верил или не придавал ей значения.

— Сколько их? Ну даже если каждый со всеми своими дачами стоит миллион — что вряд ли, — это же мелочь.

С начала тридцатых в Чебачинск начали поступать политические. Самый первый был Борис Григорьевич Гройдо, заместитель Сталина по национальным вопросам — его имя Антон потом нашел в красной Большой советской энциклопедии. Гройдо считал: ему очень повезло, что его сослали так рано — через пять-шесть лет так легко уже бы не отделался.

Его жена, детская писательница и педагог Лесная придумала пионерлагерь «Артек». Лагерь построили, она написала про него книжку, туда ездили дети деятелей Коминтерна. Но в середине тридцатых кто-то вдруг решил, что «Артек» устроен по буржуазному принципу — коттеджи, белые катера, а не палатки и рюкзаки. Лесную как идеолога такой структуры выслали в Казахстан. «Артек» меж тем продолжал функционировать по буржуазному принципу, туда приезжали дети антифашистов, потом большая партия испанских детей; построили новые белые корпуса.

И тут Гройдо повезло во второй раз — его жену выслали в тот же город, где жил он, — в Чебачинск. Никто не верил, что это вышло случайно, — говорили про его старые связи с Дзержинским — Менжинским — Вышинским.

После убийства Кирова из Ленинграда поступило несколько дворян, появились Воейковы и Свечины. Были привлеченные по шахтинскому делу, платоновскому, делу славистов, попадались изгнанцы единичные, не групповики — музыканты, шахматисты, художники-оформители, актеры, сценаристы, журналисты, неудачно сострившие эстрадные юмористы, стали присылать любителей рассказывать анекдоты.

С Дальнего Востока привезли корейцев. Перед войной стали поступать те, кто уже отбыл три или пять лет лагерей и получил еще пять или десять «по рогам» — поражения в правах, ссылку. Ссылно-поселенцы с первых дней бывали буквально потрясены: они попадали в курортное место; их окружала Казахская складчатая страна: миллион гектаров леса, десять озер, прекрасный климат. О качестве этого климата говорило то, что возле озер расположилось несколько туберкулезных санаториев; известный фтизиатр профессор Халло, тоже ссылный, с удивлением обнаружил, что результаты лечения туберкулезных больных в санаториях «Боровое» и «Лесное» выше, чем на знаменитых швейцарских курортах. Правда, он считал, что в равной степени дело тут и в кумысолечении — косяки кумысных кобылиц паслись рядом. Кумыс был дешев, продукты тоже; ссылные отъедались и поправляли здоровье.

Профессор Троицкий, ученик Семенова-Тянь-Шанского, утверждал, что знает, как это произошло: чиновник, который составлял документ, распределявший потоки ссылных, плохо посмотрел на карту, решив, что Чебачинск — в голой степи. Но Чебачинский район был узким языком, которым горы, лес, Сибирь последний раз протягивались в Степь. Она начиналась в полутораэта километрах, на крупномасштабной карте неспециалисту это было не понять. А до самой Степи раскинулся райский уголок, курорт, казахская Швейцария. Когда Антон студентом попал на Рицу, то страшно удивился ее славе: таких голубых горно-лесных озер возле Чебачинска было штук пять, не меньше, только они по причине почти полного безлюдья были лучше.

Перед войной поступила латышская интеллигенция и поляки, уже в войну — немцы Поволжья. Немцы устроились лучше, чем чеченцы: им разрешили почему-то захватить кое-какие

вещи, среди них были плотники, кузнецы, колбасники, портные (чеченцы не умели ничего). Много было интеллигенции, которой разрешалось преподавать (кроме общественно-политических дисциплин). Математику у Антона в классе одно время вел доцент Ленинградского университета Константин Христофорович Рейман, литературу — доцент Куйбышевского университета Эдгар Густавович Фрейтаг, физкультуру — чемпион РСФСР по десятиборью среди юношей Николай Гроссман. Преподавателем музыки в Доме пионеров состоял бывший профессор Московской консерватории, в местных больницах и диспансерах работали ординаторы из Первой Градской, больницы Склифосовского, ученики Спасокукоцкого и Филатова.

Но власти, видимо, считали, что Северный Казахстан интеллектуально все еще недоукомплектован: в Курорт Боровое, что в восемнадцати верстах от Чебачинска, в середине войны эвакуировали Академию наук.

Как-то отец читал академикам лекцию о Суворове. Антона он взял с собой — прокатиться в розвальнях на лошадке мохноногой по заснеженному лесу. За лекцию полагалось три килограмма муки. Возле маленького домика, где был академический распределитель, стояла небольшая, необычно молчаливая очередь. Отец отвел Антона в сторону. «Видишь вон того старичка в круглых очках, с кошелкой? — сказал он тихо. — Посмотри на него внимательно и постарайся запомнить. Это академик, великий ученый. Потом поймешь». И назвал фамилию.

Я вытягивал шею и таращился изо всех сил. Старичок с кошелкой и сейчас стоит у меня перед глазами. Как я благодарен за это отцу.

На первом курсе университета Антон узнал, кем был этот старичок, не спал по ночам от волнения при мыслях о ноосфере, от гордости за человеческий ум; за то, что такой человек жил в России; сочинял про этот эпизод плохие стихи: «Домишки. Очередь. Морозно. И казахстанский ветер адский. Отец сказал: „Навек запомни: вон тот с кошелкою — Вернадский“».

Ходили разные слухи об академиках: один может висеть в воздухе, другой переплюнет любого работягу по части мата. Дед смеялся и не верил. Но много позже Антон узнал, что великий буддолог академик Щербатской, умерший в Боровом, незадолго до смерти читал лекцию, где в числе прочего говорил о левитации; до августа сорок пятого в том же Боровом жил кораблестроитель академик Крылов — необыкновенный знаток русской обценной лексики (он считал, что подобные выражения у матросов английского торгового флота знамениты краткостью, но у русских моряков превосходят их выразительностью).

Такого количества интеллигенции на единицу площади Антону потом не доводилось видеть ни в Москве, ни в Париже, ни в Бостоне.

— Четвертая культурная волна в Сибирь и русскую глухомань, — пересчитывал отец, загибая пальцы. — Декабристы, участники польского восстания, социал-демократы и прочие, и последняя, четвертая — объединительная.

— Прекрасный способ повышения культуры, — иронизировал дед. — Типично наш, русский. А я-то думаю: в чем причина высокого культурного уровня в России?

Из всех новых административных насельников интеллигенция, по наблюдениям Антона, ощущала себя наименее несчастной, хотя ее положение было хуже, чем у кулаков, немцев или корейцев: она не знала ремесел, земли, а служить в горисполкоме, райкоме, РОНО ссыльные права не имели. Но многие из них, как ни странно, совсем не считали свою жизнь погибшей, а скорей наоборот. Шахматист Егорычев, знаменитый в городке своим мощным тепличным и поливным огородничеством, а также как страстный книголюб, признавался Антону уже в глубокой старости — я счастлив, что меня отлучили от игры в бисер. Гройдо говорил: он рад, что порвалась цепь, связывавшая его с этой колесницей.

Отец Антона, Петр Иванович Стремоухов, был одним из немногих в городе интеллигентов,

попавших в него по своей воле.

Его младший брат, Иван Иванович, организовал в 18-м году в подмосковном Царицыне одну из первых в России радиостанций и был ее бессменным научно-техническим руководителем, главным инженером, директором и еще кем-то. В 36-м году заместитель написал донос, что его начальник в 19-м году предоставил эфир врагу народа Троцкому. «Хотел бы я знать, — объяснял вызванный на Лубянку Иван Иванович, — каким образом я мог не дать эфир военному республике? Да меня и не спрашивал никто. Приехали на двух автомобилях — и все». То ли донос был уж слишком бессмысленным, то ли времена еще относительно мягкие, но Ивана Ивановича не посадили, а только уволили со всех постов.

Средний брат, Василий Иванович, принадлежал когда-то к рабочей оппозиции, о чем честно писал во всех анкетах. В тридцать шестом его арестовали (он просидел семнадцать лет). Следующего брата, Алексея Ивановича, уволили из института, где он преподавал, и уже дважды вызывали на Лубянку.

И тут отец сделал, как говорила мама, второй умный шаг в своей жизни (первый, понятно, был — женитьба на ней) — уехал из Москвы. Тогда говорили: НКВД найдет везде. Отец понял: не найдет. Не будут искать. Не смогут — слишком много дел в столице. И — исчез из поля зрения. Много раз говорил потом, что не может до сих пор понять, как люди, вокруг которых уже пустота, уже замели начальников, заместителей, родственников, — почему они сидели и ждали, когда возьмут их, ждали, будучи жителями необъятной страны?

Он завербовался на стройку социализма — возведение крупнейшего в стране мясокомбината в Семипалатинске, и не мешкая выехал туда вместе с беременной женой. Так Антон родился в Казахстане.

В 70-е годы Антон в юбилей Достоевского попал в Семипалатинск. В первый же день была экскурсия на знаменитый комбинат, где он увидел то, о чем в Чебачинске так мечтал боец скотобойни Бондаренко: убой скота электричеством. Огромных быков, получивших удар в пять тысяч вольт, подцепляли мощными крюками, и они плыли по конвейеру, где с них сразу, с шеи, начинали сдирать шкуру; обнажившиеся сине-розовые мышцы еще трепетали и дергались, а следующий съемщик продолжал стягивать шкуру, как чулок, вниз; одной достоеведке стало плохо. Инженер-экскурсовод объяснил, что, конечно, можно три-четыре раза повторить электрошок, снижая напряжение последовательно до 500 вольт, тогда бык перестанет дергаться и успокоится, именно так и поступают в Америке при работе с электрическим стулом, — но у нас более экономичная и прогрессивная технология. На фронтоне мясокомбината висел огромный кумачовый транспарант: «Я — реалист в высшем смысле. Ф. М. Достоевский».

Мама перевелась в местный институт, отец хоть и окончил истфак МГУ, работал на комбинате преподавателем слесарного дела, которое знал с детства от своего отца и которому доучивал его великий мастер Иван Охлыстышев. Когда родился Антон, приехала бабка и забрала всех в Чебачинск — курортный город.

Так как историю и конституцию ссыльным преподавать не разрешалось, а отец был единственный в городе нессыльный с высшим историческим образованием, он преподавал эти предметы во всех учебных заведениях Чебачинска — двух школах, горно-металлургическом техникуме, педучилище.

На фронт его не взяли из-за близорукости — минус семь (глаза он испортил в московском метро, где сварщики работали без щитков). Но когда немцы подходили к Москве, он записался добровольцем, доехал до областного центра, где доформировывались части дивизии генерала Панфилова, и даже был зачислен на пулеметные курсы. Но на первой же медкомиссии майор медицинской службы с матерными ругательствами выгнал его из кабинета.

Вернувшись, отец отдал в фонд обороны все, что скопил перед войной на своих трех

ставка. Дед, узнав об этом из местной газеты, такой шаг не одобрил, как и раньше — запись в добровольцы.

— Умирать за эту власть? С какой стати?

— При чем тут власть! — горячился отец. — За страну, за Россию!

— Пусть эта страна сначала выпустит своих узников. Да заодно отправит воевать столько же мордоворотов, которые их охраняют.

— Я вас считал патриотом, Леонид Львович.

Отец уехал, с дедом не попрощавшись. Дед был спокоен и ровен, как всегда.



# Ты можешь ли Левиафана удою вытащить на брег?

Антон выговорил право кормить деда обедом. Уставя поднос тарелками, он прошел в дедов покой. Дед лежал высоко на подушках.

— Как здоровье? О чем думаешь?

Это был дедов вопрос, начинать с него не стоило. Доктор Нина Ивановна пеняла: «Ты, Антон, всегда находишь темы, которые Леонида Львовича волнуют».

Дед ответил:

— Испохабили все — начиная со Святых Апостолов и кончая бессловесными зверьми.

На одеяле лежала привезенная Антоном московская газета. В «Репертуаре театров» красным карандашом было подчеркнуто название: «Затюканный апостол», а в рубрике «Окно в природу» — «Медвежий колхоз». Чтоб переменить разговор, Антон стал пододвигать столичные лакомства. Раньше дед поесть любил, в семье острили: готовь бабка хуже, он никогда б на ней не женился. Но теперь дед смотрел равнодушно на осетрину с бужениной, не произнес «подай мне тельца упитана», а сказал:

— Я уже не хочу ни есть, ни спать, ни жить. Ведь что есть жизнь? Познание Бога, людей, искусства. От богопознания я далек так же, как восемьдесят лет назад, когда отроком поступил в семинарию. Людей — тут никто не знает ничего, двадцатый век это доказал. Искусство — я читал Чехова, Бунина, я слышал Шаляпина. Что вы можете предложить мне равноценного?

— А театр? Театр двадцатого века? — пошел в наступление Антон, держа в резерве МХАТ, который дед любил, был на премьере «Вишневого сада». Но резервы вводить не пришлось — дед с порога отверг театр как таковой.

— Что театр? Площадное искусство. Подчинено зрелищности, подмосткам. Насколько Гоголь грубее в «Ревизоре», чем в «Мертвых душах»! И даже Чехов — уж такой тонкий по сравнению со всеми драматург — насколько примитивнее в пьесах, чем в рассказах.

— Дед, но ты же не станешь отрицать кино.

— Не стану. Немое. Оно почти выбилось в высокое искусство. Но явился звук. А потом и цвет! И все было кончено — восторжествовала площадность.

— А Эйзенштейн? — его последние фильмы были единственными, которые дед видел после двадцатых годов, сделав для них исключение. (Этому, рассказывал покойный Василий Илларионович, муж тети Ларисы, между дедом и бабкой будто бы предшествовал такой разговор. Бабка просит его посетить вместе кинотеатр. Дед: «Мы же были в кинотеатре». — «Конечно, но теперь там идут звуковые фильмы!»).

— Эйзенштейн? Все у него лучшее, кадры, которые ты сам мне показывал, как он сперва их рисовал, — все это от немного кино. Да что о нем говорить, — когда во всей фильме «Александр Невский» никто ни разу не перекрестился!

— Разве? Я как-то не обратил...

— Разумеется. Вы этого не замечаете. Великий князь, Святой благоверный князь Александр Невский перед битвой не кладет крестного знамения! Господи, прости, — дед перекрестился.

— Может, режиссеру запретили.

— А что ж ему в «Иване Грозном» церковную службу при коронации — все начало фильма — не запретили? Нет, тут другое: там ему самому, вашему великому режиссеру, это и в голову не пришло.

Антон хотел сказать, что с середины и в конце войны ко всему этому отношение было уже другое, но дед по пятилеткам не мерил, для него все годы после семнадцатого были одноцветным советским временем, оттенки его не занимали.

«Как и все люди прошлого века...» — начинал формулировать Антон. Да, прошлого, прошлого века.

Он отправлялся бродить по городу.

Разговоры с дедом почему-то чаще всего наталкивали на тему, которую Антон озаглавливал «О тщете исторической науки». Что может твоя наука, историк Стремоухов? Пугачевский бунт мы представляем по «Капитанской дочке». И появишься еще куча исследований — уточняющих, опровергающих, — пугачевщина в сознании нации навсегда останется такою, какой изображена в этой повестушке. Ты занимался Пугачевым как историк. Много изменили в твоём ощущении эпохи документы? Будь откровенен. А война 1812 года? Всегда и во веки веков она пребудет той, которая разворачивается на страницах «Войны и мира». И сколько здесь от случая. Допиши Пушкин «Арапа», мы бы и Петра знали по нему. Почему? Историческое бытие человека — жизнь во всем ее охвате; историческая же наука давно разбилась на истории царствований, формаций, революций, философских учений, историю материальной культуры. Ни в одном научном сочинении человек не дан в скрещении всего этого — а ведь именно в таком перекрестье он пребывает в каждый момент своего существования. И сквозь этот прицел его видит только писатель.

Так было всегда, когда Антон уходил от деда, — диалог с ним продолжался, и Антон не глядел по сторонам.

Но город детства постепенно завладевал им.

Русская провинция! Как периферия литературная — иллюстрированный журнал, газета, малая пресса всегда была холодильником жанров, не сохранившихся в большой литературе — романтической повести, физиологического очерка, мелодрамы, — так периферия географическая, русская провинция сохранила семейное чтение вслух, лоскутные одеяла, рукописные альбомы со стихами Марлинского и Мережковского, письма на десяти страницах, обеды под липами, старинные романсы, фикусы в кадках, вышивки гладью, фотографии в рамках и застольное пенье хором.

Перед войной административно войдя в Казахстан, Чебачинск остался русской, казачьей сибирской провинцией. Когда местная газета «Социалистический труд», выходящая раз в неделю в формате развернутой школьной тетради, в передовице упомянула о переписи населения 1939 года, по которой в городе оказалось 8 % казахов, то редактора Улыбченко за политическую близорукость в понимании задач национальной политики перевели в корректоры (на этой должности, сильно потеряв в зарплате, он и продолжал почти единолично до самой войны делать газету). Местные жители восприняли это как наказание за очковничество: и такого процента в городе никто не наблюдал, казахов с их верблюдами и низкорослыми лошадами видели только на базаре да — в кителях-сталинках — в кабинетах исполкома (в райкоме партии были уже русские). Казахские дома стояли только на нечетном порядке крайней улицы, глядящей в Степь. Постоянного названия она не имела: таблички «Улица Амангельды» то вешали, то снимали — в зависимости от того, кем считался Амангельды Иманов. Если по радио передавали песню: «Запевайте, горы Ала-Тау, и снега, и льды. Добывать идем в бою мы славу, как Амангельды», — это означало, что он герой освободительной борьбы, и таблички висели, но когда ее передавать переставали, значит, он опять становился буржуазным националистом, и таблички снимали.

Село Чебачье, село казачье, в городское звание возвели еще до войны, но только теперь поселение стало этому званию соответствовать: из центра исчезли огороды, появились запоздалые хрущевские пятиэтажки. Тогда, после войны, двухэтажной была только школа, построенная еще купцом Сапоговым, да несколько домов на станции. Они считались достопримечательностью; объясняя дорогу, махали рукою вдаль и вверх: там, за высокими

домами. Все остальное было не дома — избы. Полвека для них не возраст, а если изба ставлена на фундаменте — вообще детство. Рубили их из звонкой сибирской корабельной сосны (ее так здесь не называли, а: лес-бревенчак, избяной).

Лес заготавливали зимою, в апреле ставился сруб, в котором точно пригнанные бревна медленно и равномерно высыхали, их не вело и не кособочило. Угол всегда рубили в обло с остатком — в лапу считалось недолговечно. Железная крыша была роскошью, крыли тесом. Антон застал еще пилку досок вручную. Бревно клалось на огромные, выше роста человека козлы, пилили особой длинной пилой, один пильщик стоял наверху, другой — внизу. И там и там работа была адова. Кровля делалась безгвоздой — доски упирались в долбленные полубревна-желоба и пригнетались тяжелым бревном-охлупнем. К избе примыкал высокий бревенчатый заплот (жердяных не ставили) и глухие ворота из досок в елочку, с двускатным козырьком.

С трудом узнавались знакомые места — по тополям, которые школа сажала на воскресниках. Саженцы обгрызали козы, ломали коровы, но мы сажали их снова, они опять гибли, мы сажали опять и опять, и козы сдавались, и уже не верилось, что те слабые прутики стали такими могучими деревьями, что эти могучие деревья были теми слабыми прутиками.

Здесь стояла хибарка Усти, низенькая, вросшая в землю, с подпертой кольями стеной. Бедных было много — семьи без вести пропавших и не получавших ни аттестата, ни пособия, многодетные ссыльные немцы. На медосмотре врач, осмотрев Антонова одноклассника Ленау, по которому можно было изучать основные кости человеческого скелета, спросил: «Питание дома — только картошка?» Но Устя была самая бедная. Работала она в колхозе, на трудодни не давали почти ничего. Ее сын Шурка школу посещал только до морозов — каждый год все тот же второй класс. Ходил он с большой торбой из серого грубого холста, за что над ним смеялись (много позже точно такую торбу Антон видел в нью-йоркском универмаге, стоила она двадцать долларов и была гораздо хуже). Мать Антона отдала им детские валенки, малоношенные, но Устя, чтоб не есть одну картошку, променяла их на капусту.

На месте домишки Усти стояла панельная пятиэтажка. Когда я уходил из переулка, пятиэтажка расплылась и растаяла; ее место опять и навсегда заняла похилившаяся хибарка Усти.

Антон делал крюк к Набережной, где прожил первые шестнадцать лет своей жизни. Улица весной и осенью была грязновата. У всех была мечта: резиновые сапоги. Рассказывали, что у Леньки-станциря были такие сапоги, будто как бы зеленоватые, литые, но в глаза их никто не видел. Там, где было повыше, на лужайках перед домами рано вылезала чистая шелковистая травка-конотопка, на ней лежали по выходным и взрослые, и даже белые рубахи не зеленились. Автомобили не проезжали, подводы — редко, чаще всего — казахов. Весной подле каждой степной низкорослой кобылки бежал длинноногий жеребенок, а то и второй — уже стригунок, его брали, чтобы не дичал, привыкал, заодно и проминался.

А тут был пустырь, где часами бродили, отыскивая *стеколки* — осколки посуды и, если повезет — золоченую ручку чашки или краешек тарелки с цветным ободком. Как скуден был вещный мир их детства. Кукла — одна, две — уже редко. Ходила легенда про куклу сестры того же Леньки-станциря, с закрывающимися глазами и говорящую «мама», — не все этому верили. Дома можно было сказать: пойду к машине, и все знали, что к Кольке, потому что только у него был игрушечный грузовичок, как все любили эту деревянную машинку.

Под косогором текла речка. Названья она не имела: просто Речка. Она была мелкая: воробьишке по ...чке, воробью по яйца, но зато идеально подходила для ловли бреднем: за час набраживали полный кошель. Купаться можно было только у плотины, на Березке, где глубенело сразу; над водой там нависал мощный березовый пень, первое острое сожаление о безвозвратном прошлом: какие счастливы были те, кто застал саму березу, каково было с нее

нырять! Как она росла? Вверх? Наклонно? Хотелось, чтоб наклонно, нависно. Над водой деревья всегда так растут. Грустные ивы склонились к пруду. Что ты, ива, над водами. Конечно, береза нависала! И достигала середины Речки, и прыгнув оттуда, они свободно доныривали до того берега. И у какого мерзавца поднялась на нее рука?.. Вода у берега, на мелководье, теплая, хорошая, называлась керенская, на середине, в омуте, холодная — колхозная. Что такое керенская, никто не знал, но почему колхозная — мы понимали очень хорошо.

Не было погожего летнего дня, чтоб на Березке не купались Васька Гагин, Юрка Бутаков, Кемпель, Лека Ишкинов; из воды не вылезали часами. Но Антон иногда, наскоро окунувшись, убегал навестить Вальку Шелепова, который выше по речке, где уже не было огородов, пас теленка. Пас ежегодно, ежедневно, все три месяца летних каникул. Только одно лето оказалось свободным: очередной теленок обожрался белены и сдох. Васька Гагин на следующее лето предлагал ситуацию повторить и обещал найти самой нежной, вкусной и верной белены, но Валька боялся: отец сказал, что убьет, если он и теперь не уследит. И Валька следил, и на речку только глядел сверху. Большого мученья Антон, полоскавшийся в воде, как утка, целыми днями, представить себе не мог, поэтому и сидел с бедным Валькой на косогоре, а когда особенно зноило, в душном коноплянике — единственном укрытии от солнца: берега были бестенные, хотя, судя по пням, деревья тут были, но какие-то вредители их вырубали. Спустя много лет, когда Антон был на конгрессе по истории бывшего Советского Союза в Амстердаме, во всех кафе его два дня преследовал какой-то сладковатый запах, мучительно что-то напоминавший. На третий, когда ему сказали, что в столице Голландии легализовано курение марихуаны, он вспомнил: то был запах разогретого солнцем конопляника над Речкой. От запаха конопли кружилась голова. Старший брат Вальки Генша, побывший тут недолго, сказал, что надо как-нибудь затащить сюда Люську — полчаса посидит, сама все даст. Ближе к воде рос какой-то особенно влипчивый репейник — от рубашки не отодрать, а когда его тебе закатают в волосы — только выстричь. На пролысинах конопляника росли калачики — маленькие сладковатые плоды какого-то круглолистого растения — потом Антон никак не мог его ни найти, ни хотя бы узнать, как оно называется. Вид не мог внезапно исчезнуть из целой местности — но он исчез. На берегу можно было набрать сосовой глины — серой, маслянистой, вкусной. Ели, запивая водой из речки. Никаких неприятностей от этого не происходило.

Все остальное время Антон что-нибудь рассказывал: читать Вальке было запрещено, так как теленок погиб из-за «Робинзона Крузо». Сначала Антон дорассказал про недочитанного Робинзона, потом на основе этого сюжета стал излагать придуманные им самим приключения мальчишек, оказавшихся на необитаемых островах на Байкале, Онежском и Ладожском озерах, в Аральском море и Северном Ледовитом океане. Называлось: Сказка. Сказка была с продолженьями, которые Антон рассказывал Вальке уже осенью, на их сеновале, а зимой — в избе. Антон входил, Валька уже ждал.

— Или, — возглашал Антон, — у броненосцев на рейде...

— Ступлены острые кили? — должен был отвечать-спрашивать друг. Паролей было несколько.

— Мир уснул, — говорил в следующий раз Антон, — но дух живой...

— Движет небом и землей, — продолжал обученный Валька.

— Ты можешь ли Левиафана удою вытащить на брег? — Антон вворачивал и что-нибудь новенькое.

— Левиафана? Запросто, — отвечал находчиво Валька. — А кто это такой?

Залезали на печь, под мягкий волчий тулуп, начиналось продолжение Сказки.

Герой вырастал, с острова съезжал, женился, у него рождался сын. Он также довольно рано попадал на необитаемый остров, где проводил, конечно, не двадцать восемь лет, как Робинзон,

но тоже значительную часть жизни, пока не выросстал и становился неинтересен.

Антон спустился к Речке. За тридцать лет она сильно затиневела, но перед плотиной зеркало было чистое, как раньше. В сливе по колено в воде копошился мужик с опухшим лицом, подставляя ладонь под струйки, бившие из тела плотины, — видимо, изучал водоклёв.

— Не узнаёшь, москвич?

— А, Федул! Богатым быть.

— И так уж богаче некуда, опохмелиться не на..я. Как в анекдоте. Подходит Пушкин к магазину...

Русская провинция. Что может быть тупее ее анекдотов про Пушкина, про Крылова, про композиторов: поел Мясковского, запил Чайковским, сел, образовалась могучая кучка, достал Листа...

На бровке речного оврага стояла новая электростанция, построенная на месте старого движка. Движок сгорел. Работал он на мазуте, годовой запас которого хранился тут же и которым давно до маслянистой черноты пропитались обшитые фанерой бревенчатые стены. Пламя было до неба, собралась толпа, но тушить такое своими силами никому и в голову не приходило. Когда огонь слегка поутих, приехали с песком и огнетушителями пожарные — на быках. Пожаров было много. «Надо же, — говорил тамбовец Егорычев, — Казахстан, не тесно, а полыхает — как в центральной России». Горели дома, сараи, стога сена, школа, пекарня, детприемник. Но этот пожар был самый знаменитый.

За плотиной стояли пятистенки и большие крестовые избы — дома высланных раскулаченных. В Чебачинск слали кулаков с Украины, Рязанщины, Орловщины, чебачинских выслали дальше в Сибирь, сибирских — еще дальше на восток. Хотелось верить, что придумал такое кто-то разумный, если можно говорить о разумности в этом безумии: с Украины прямо до Находки они б не доехали.

Дома эти еще в тридцатые годы получили комбедовцы. Так как дома были большие, то когда начала работать горсоветская комиссия по устройству эвакуированных, она почти в каждом находила излишки и подселяла приезжих; получился целый околоток, который так и называли: у вакуированных. Подселенных не очень любили — даже те, кого они не стеснили, называли: дворянки-водворянки. Эвакуированным, как и беженцам в первую германскую, давали какую-то мануфактуру, продукты; местные возмущались.

— И чего? — говорила мама, у которой Антон потом расспрашивал про войну. — Ведь это было только справедливо. У местных — огород, картошка, корова. А у этих, как и у ссыльных, — ничего.

— А почему они не заводили огороды? Ведь землю давали.

— Сколько угодно! В степи каждый желающий мог взять выделенную норму — 15 соток. Да и больше, никто не проверял. Но — не брали. Эвакуированные считали, что не сегодня-завтра освободят Ленинград, возьмут Харьков, Киев, и они вернутся. («Совсем как русская эмиграция, — думал Антон. — И города те же»). Да и не желали они в земле копать. Из ссыльных? Ну, дворяне, кто в детстве жил в имениях. Из интеллигенции — почти никто. Наша техникумовская литераторша Валентина Дмитриевна — ты ее помнишь? — сначала жила в Кокчетаве. Недалеко от нее поселилась, когда отбывала ссылку, Анастасия Ивановна Цветаева. Так та, ничего сначала не умея, завела потом огород, выращивала картофель, овощи. И жила нормально. Но таких было мало. Голодали, продавали последнее, но обрабатывать землю не хотели. Дед над ними посмеивался: «Где ж власть земли? А народные истоки — самое время к ним припасть, заодно и себя прокормишь...»

Такие высказыванья деда помнил и я, здесь он совпадал с местными, которые презирали приезжих за неумелость, нежеланье копать в навозе. Уважали шахматиста Егорычева,

построившего теплицу и жившего безбедно; власти поглядывали на нее косо, но найти пункт, по которому ее можно было запретить, не могли.

По Набережной в распутицу было не пройти, не проехать. Но зато летом ее проезжая часть покрывалась подушкой мягкой, как пух, пыли. Слабый дождик пробуровливал в ней лишь частые, как в дуршлаге, дырочки. После острокаменной дороги с Сопки или надречных склонов с жестким слепокосным пырейным остьем, колючим молочаем или целых плантаций крапивы (клич звучал: «По крапиве прямиком так и дуем босиком»), но даже возвращаться по уже слегка протолоченной тропке было больно) это был подарок сбитым и зажаленным босым ногам. Они тонули в пыли — теплой серой или горячей черной — по щиколку, наслаждением было медленно брести, взрывая тут же опадающие крохотные воронки-бурунчики. Не хуже и бежалось — вздымалось сразу целое пыльное облако; называлось — «айда пылить». Ну, а если проезжала одна из двух чебачинских полуторок, столб пыли подымался до крыш, и пока не осел, в него надо было успеть заскочить; Ваську за такое развлечение дядька протягивал костылем.

В этой пыли нежились куры и трепыхались воробьи. Воробьев не любили — они склевывали вишню, выклевали подсолнухи, не боясь, как прочие нормальные птицы, огородных пугал. Вызорить воробьиное гнездо не считалось предосудительным. Когда они раз в несколько лет собирались тучами на свои воробьиные базары (отец говорил: партсъезды), для огородников Набережной это была катастрофа.

— Ну хорошо, птичьи базары где-нибудь на Новой Земле, они там и гнездятся коллективно. Но тут? — поражался дед.

Воробьев было столько, что наверняка они слетались и из Батмашки, и из Котуркуля, с Карьера, может, и из Успенно-Юрьевки — кто их предупредил, что в этом месте, в этот день и час? Кто объяснил, как для жизни вида важен такой межродственный обмен? И дед в сотый раз застывал с разведенными рукам перед таинством Природы.

Под нелюбовь к воробьям чебачинцы подводили историческую базу. Когда Христа распинали, римские воины рассыпали гвозди. Воробей подпрыгивал, подавал их палачам и чирикал: «Жив! Жив!» И Спаситель сказал ему: «Всю жизнь тебя будут гонять и будешь подпрыгивать». Апокриф хорош, говорил дед, но несколько портит его то, что воробей отнюдь не единственная прыгающая птица — так передвигаются и снегири, и синицы, и все, у кого вместо двух как бы на шарнире берцовых костей — одна, отчего они и не могут ходить.

Последним в переулке был дом Кемпелей-колбасников: старый Кемпель в Энгельсе работал на мясокомбинате. Был он и слесарь, и кузнец, и водопроводчик, сыновья его тоже умели все. Приехали, как и все сосланные поволжские немцы, с одним чемоданом на человека. В трудармию, где немцы гибли тысячами, Кемпеля не взяли как слишком старого, детей — как слишком молодых, семья выжила, обстроилась, сыновья после войны переженились — на своих. В колхозе «Двенадцатая годовщина Октября» старик купил пианино, когда-то реквизированное и лет пятнадцать стоявшее в ленинском уголке без употребления. Из окон дома колбасников по вечерам слышался Шуберт. Пел старший сын Ганс, механик на пармелнице, аккомпанировала его сестра Ирма, повариха. На работе и во дворе он всегда был очень лохмат. Но когда иногда появлялся на крыльце с идеально гладкими волосами, все знали: скоро из окон польется про «Die sch ne M llerin»,<sup>[1]</sup> хотя ниточно-ровный пробор будут лицезреть одни домашние. Любил Кемпель-сын и русские песни, пел знаменитую кольцовскую «Ты душа моя, красна девица» в своем переводе, где «красна девица» превращалась в «красную мадемуазель»:

O, du meine Seele  
Rote Mademuaselle!

Антону вместо этой мадемуазели сильно хотелось вставить: Lumpenmamselle.<sup>[2]</sup> Но голос был хорош; когда через много лет Антон услышал Фишера Дискау, а позже — Германа Прая, он почувствовал что-то знакомое — так Шуберта умеют петь только немцы. Теперь в доме жили внуки Кемпеля, из окон доносились «Битлз».

Переулок выводил к Ленинской, бывшей Дворянской, к центру. На углу стоял городской кинотеатр имени Сакко и Ванцетти. Был еще железнодорожный — имени Клары Цеткин. Говорили: пойдём в Кларку, пойдём к Ссакам. Ссаки располагались в длинном приземистом здании, но внутри с высокими потолками — бывшем оптовом амбаре-складе купца Сапогова.

Кинотеатр был знаменит тем, что из него трудно было выйти. Огромные двустворчатые двери в торце заколотили — там висел экран, выход сделали через узкую боковую дверь, раньше через нее входили-выходили грузчики и конторщики Сапогова. Рассчитанная на тридцать человек, она не могла быстро выпустить пятьсот. Народ давился, Антона раз сильно поприжали, мама перестала пускать его одного. Но шел замечательный фильм «Трактористы», все друзья говорили про Ваню Курского, распевали: «Здравствуй, милая моя, я тебя дождался», Антон упрашивал пустить. Ходатаем выступил Василий Илларионович, заявивший, что не сходя с места сей секунд скажет Антону точно, когда скоро конец фильма.

— Но вы же, Вася, кажется, не смотрели этот фильм? — осторожно удивилась мама.

— А зачем смотреть? Как пойдут строем трактора и трактористы запоют что-нибудь хором, шапку в охапку — и на выход.

Антон вернулся невредимым. Но мама все же поинтересовалась:

— Шли строем трактора? Не шли? А как же ты? — мама еще раз обеспокоенно оглядела Антона.

— Не трактора, а танки. Тоже строем, во весь экран. Я сразу и догадался. И все песню пели: «Сверкая блеском стали, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин».

В Ссаках же смотрели и «Тарзана», а по второму и третьему разу бегали в Кларку. Преподаватель английского Атист Крышевич, бывший дипломат, попавший в Чебачинск после добровольного присоединения Латвии, еще до войны читал в лондонской «Таймс», что крик Тарзана в джунглях — это наложенные друг на друга записи воя гиены, криков бабуинов и птицы марабу. Атисту мы верили — после того, как он сказал, что «На Дерибасовской открылась пивная» поется на мотив популярного во всей Латинской Америке аргентинского танго «Эль чокло», которое он там везде слышал. Но дело было в том, что Борька Корма без помощи бабуинов воспроизводил этот крик со всеми его дикими руладами с абсолютной точностью. Потом Антон видел другие фильмы на этот сюжет. Старый ему нравился больше. То, что делают новые Тарзаны, овладевшие современным оружием, в боевиках делает любой Сталлоне. А в «Тарзане» с Вейсмюллером была прекрасная ностальгическая идея: сила и ловкость сына природы побеждают технику, слоны оказываются сильнее машин, а тот, кто разговаривает с животными на их языке, — непобедим.

Городской кинотеатр — он же клуб и городской театр — был известен еще историей с занавесом. Его подарила Чебачинску певица Куляш Байсеитова, вернувшись с прославившей ее первой декады казахского искусства в 36-м году в Москве (Антону очень нравилась ее знаменитая песня с припевом: Га-ку, га-ку, га-га-га-га-га!), той самой, на которой всплыл и Джамбул. Занавес был огромный, вишневого рытого бархата. И вдруг он пропал. Сапоговские пудовые замки на мощных пробоях железных дверей оказались целы: кто-то ухитрился снять и унести большой тяжелый занавес после спектакля Омского драматического театра, пока актеры разгримировывались в десяти метрах, за сценой. Недели через две егерь Оглотков, мотаясь по Степи по своим егерским делам, заехал в цыганский табор, недавно раскинутый возле областного центра, в ста верстах от Чебачинска. Цыгане поразили Оглоткова роскошными

бархатными шароварами бордового цвета, которые носили все мужчины табора; зрелище — умереть не встать. Табор был тот самый, что стоял недавно под Чебачинском, у Каменухи. Нарядили следствие, цыгане божились и целовали кресты, что купили материю у других цыган, которые теперь гуляют в Степи далеко-далеко. Фамилия у всех в таборе была одна: Безлюдских.



# Кавалер Большой Золотой медали Великого князя

Дальше дорога лежала мимо школы — тоже бывшего дома Сапогова. Нижний этаж был когда-то лабазом с полуметровыми кирпичными стенами, второй — из сосны, такие толстые бревна Антон видел еще только раз — на избе Емельяна Пугачева в Уральске, где он докладывал местным краеведам о сибирских реалиях «Капитанской дочки».

В школу Антон пошел в первый послевоенный год — во второй класс. Получилось это так.

После обеда, когда дед отдыхал, Антон забирался к нему на широкий топчан. Над топчаном висела географическая карта. Между делом, незаметно дед выучил его по этой карте читать не по слогам, а по какой-то его особой методике, сразу целыми словами.

Как-то зимою дед лежал на своем топчане, укрывшись овчинным тулупом. Мне больше нравился мягкий волчий, как на лежанке русской печи у Вальки Шелепова, и однажды отец Карбека, лесник, предлагал такой же прекрасный тулуп, но дед отговорил всех: овчинный лучше, потому что овечья шерсть обладает целительными свойствами; потом я прочитал, что она еще и отгоняет скорпионов, но и это не помогло, — волчий все равно казался в сто раз лучше. Дед лежал, а я сидел рядом на особенном стульце и читал ему «Правду». Газету эту дед в руки брать не любил, и когда говорил: «Почитай, что пишут в столицах», я уже знал, что читать надо только заголовки, делая после каждого паузу, во время которой дед говорил: «Все ясно» или «Потери несут, конечно, только немцы», или чаще всего: «Валяй дальше».

Отец вышел на кухню и, пока искал что-то в шкафчике, эту политпятиминутку услышал.

— И давно ты умеешь читать, Антоша?

Этого я не помнил, мне казалось, что я умел читать всегда.

— И считать умеешь?

Дед выучил Антона и счету, сложению-вычитанию в пределах сотни; таблицу умножения он показывал, играя «в пальцы», и Антон, тоже между прочим, ее запомнил.

— Тасенька, — позвал отец, — иди сюда, посмотришь на результаты по системе Ушинского.

Но мама не удивилась, она знала, что Антон уже читает «Из пушки на Луну» Жюль Верна.

— Что будем делать? — сказал отец. — В первом классе станут только алфавит мусолить полгода! Надо отдавать сразу во второй.

— Да он, наверное, писать не умеет, — сказала мама.

— Умею.

— Покажи.

Антон подошел к печке-голландке и, вынув из кармана мел (там держать его бабка не разрешала, но Антон надеялся, что мама этого не знает), написал на ее блестящей черной жести: «наши войска преодолевая».

— А в тетрадке ты можешь?

Антон смутился. Тетрадки у него не было. Писали они с дедом всегда мелом на той же голландке. Мама дала карандаш. Карандашом Антон только рисовал (его надо было экономить) — на старых таблицах по метеорологии, где в конце страницы всегда было много чистого места. Он очень старался, но получилось плохо.

— С чистописанием слабовато, — сказала мама. — А мел в карман не запихивай, положи.

Было решено, что Антон идет осенью этого года во второй класс, а дед начинает немедленно, после дня рождения Антона, с 11 февраля заниматься с ним науками не на топчане, а как полагается, за столом, и не когда захочется, а каждый день; чистописание будет контролировать мама как бывшая учительница начальной школы.

Они стали заниматься. За столом все же почти не сидели — дед считал, что усвоение гораздо успешнее происходит не за партой.

— Кюнце погубил не одно поколение, — говорил он в спорах на эту тему с мамой (позже Антон узнал, что этот Кюнце — изобретатель парт с ячейками для чернильниц и откидными крышками, которые с грохотом Антон открывал девять лет; такие парты он увидел потом в чеховской гимназии в Таганроге). Мама не соглашалась, потому что без парты и правильного держания ручки, конец которой смотрел бы точно в плечо, нельзя было выработать хороший почерк. Ее учили чистописанию еще старые гимназические учителя; такого идеального почерка Антон не видел больше никогда.

Бабка рассказывала, что когда она приносила деду завтрак (в трех салфетках: шерстяной и льняной — чтоб не остыл, и белой накрахмаленной, сверху), то нельзя было понять, перерыв или урок — во время занятий у деда сидели кто где хотел — на подоконниках, на полу, некоторые при решении задач предпочитали бродить по классу, как на популярной картине передвижника Богданова-Бельского «Устный счет». Недавно Антон прочел в журнале «Америка» статью о новейшей методике преподавания в младших классах — со снимками. Все было точь-в-точь как у деда и на картине передвижника, только у деда не было ковров и толстых разноцветных полиформных пуфиков, разбросанных у американцев по всему интерьеру — видимо, в них особенно проявлялось новейшее слово современной педагогики.

Басни Крылова всегда разыгрывались в лицах: Волк — в волчьей шубе, Ягненок — в вывороченной овчинной.

Географию и естествознание изучали не в классе — это Антон хорошо помнил по своим прогулкам с дедом, во время которых тот учил определять высоту дерева, а когда задирали головы, пользуясь случаем, рассказывал, на какой высоте стоят облака перистые (cirrus) и на какой — перисто-кучевые (cirro-cumulus), чем оперенье малиновки отличается от оперенья иволги, какие и где у них гнезда, учил распознавать их голоса, кстати сообщая, что кукушка кукует, не раскрывая клюва. Рассказывал, как исландцы добывают гагачий пух. Этот пух — подстилка в гнезде гаги. Они ее вынимают, заодно забирают и яйца. Птица опять устилает своим пухом гнездо и снова несет яйца. Все забирают во второй раз — из десятка гнезд можно собрать до полутора фунтов пуха. Но в третий раз уже не берут — за это дед исландцев очень хвалил, Антон не понимал, почему. В доколумбовой Америке не было пчел — их завезли европейские поселенцы; слона нельзя было застрелить из ненарезного ружья — только из винтовки, с ее изобретением для гигантов настали плохие времена; число особей мушек во всяком их рое над озером Виктория превышает число людей на земном шаре, а таких роев там сотни; яйцо страуса можно разбить только каким-нибудь орудием, но это делают, как ни странно, не обезьяны, а грифы, которые берут в когти камень и бросают с высоты на это яйцо; из страусиного яйца можно сделать омлет на дюжину едоков (очень хотелось отведать), и странно, что не додумались этих птиц разводить (их разводят, дед, их разводят в Америке на фермах, и в середине 90-х годов страусов там было уже 10 миллионов); удар перепончатой двупалой ноги страуса так силен, что может убить льва, и львы это знают. Про львов интересных историй было много. Царь Дарий велел бросить пророка Даниила в ров с этими хищниками, но когда пришел утром, — Даниил был цел и невредим. «Бог замкнул пасти львам», — объяснил Даниил. Дарий освободил пророка и велел почитать его Бога, а врагов его бросить в ров, где львы их и растерзали. У колибри сходство с пчелой не только в том, что она почти такая же по размеру. Она и питается нектаром. Впрочем, в Австралии есть целое семейство птиц, которые тоже высасывают нектар, они так и называются: медососы. Когда в этот приезд Антона Тамара стала хвастаться, что им провели водопровод и он засмотрелся на водяную воронку в раковине, дед сказал: «А ты знаешь, почему воронка в раковине вращается не по часовой стрелке, а против?»

Антон не знал. «Магнитное поле Земли расположено иначе». Тут же объяснил, почему стал плох чай: раньше с чайного куста собирали только три-четыре самых сочных и нежных верхних листика, а теперь обрывают чуть ли не весь куст, с грубыми и большими листьями, в которых много пустой клетчатки.

Для сообщения сведений дед пользовался всяким случаем — даже когда делал Антону замечанья.

— Опять! Слушай ухом, а не брюхом — ты не саранча.

Антон удивленно вскидывался.

— У нее органы слуха расположены на брюшке.

Дед постоянно пополнял в сознании Антона — как бы сейчас сказали — Книгу рекордов Гиннеса в природе, рассказывая про все самое-самое: самый быстрый зверь, развивающий скорость 90 верст в час — гепард (ему, как и борзой, гибкий позвоночник позволяет выбрасывать задние ноги далеко вперед); самый сильный звук в истории — взрыв в 1883 году вулкана с замечательным именем Кракатау, звук этот был слышен за пять тысяч километров; самая эластичная кожа — у гиппопотамов, несмотря на ее толщину в два сантиметра, во времена работорговли из нее делали кнуты; самая совершенная вентиляция убежищ из всех животных и насекомых — у термитов: когда масаи выжигают траву и вокруг бушует пламя, температура внутри термитника не повышается ни на градус.

Только растения плохо помнил Антон, это была дедова стихия, по второй профессии он именовался ученый агроном, их называл то по-русски, то по-латыни; запоминались названия совсем не латинские — когда про беловатый гриб, испускавший из себя облако вонючей пыли, дед, поколебавшись, сказал: «бздюха». Латинское наименование у гриба, впрочем, было тоже какое-то сомнительное: люкопердон бовиста.

Иногда дед говорил нечто не очень понятное, но Антон тоже слушал внимательно и по привычке запоминал:

— Чтобы пользоваться силами Природы и благожелательными ее дарами, надобно постичь законы механики, ботаники, знать естественную историю и действовать соответственно. И тогда Природа будет не только строга, но и дружественна.

Результаты метод деда, видимо, давал прекрасные: у него было множество каких-то поощрительных листов, а в двенадцатом году ко дню Св. Пасхи он был согласно представлению Министра Народного Просвещения пожалован Большой Золотой медалью Великого князя для ношения на шее. Правда, старики расходились во мнениях: дед говорил, что на Александровской ленте, а бабка — что на Владимирской. «Да что ты, старая! Золотые медали всегда носили только на Александровской ленте! Или на Анненской — но уже для ношения на груди». На эту медаль бабка в девятнадцатом году выменяла пуд гречки — медаль была большая, «золото настоящее, не то что теперь дают в школах и спортсмэнам».

После завтрака дед долго брился бритвой «Золлинген», старой, хорошей стали, брившей со звоном, купленной в день коронации Николая II и за полвека ставшей узкой, как карандаш (интересно, какова она сейчас, у дяди Лени, еще через полвека?), равнял усы, специальными ножичками подстригал волосы в ноздрях, — наблюдать за этим было очень интересно.

Уроки начинались с арифметики. «Купец купил 75 аршин синего сукна, — диктовал дед, — по 1 рублю 20 копеек за аршин... („75 арш. по 1 р. 20 к.“, — записывал мелом на печке Антон) и 30 аршин сукна цвета наваринского дыму с пламенем по 2 рубля 50 копеек за аршин. Сколько уплатил фабриканту купец, если...». Самое интересное были задачи-загадки: «Летела стая гусей. Навстречу им — один гусь. — Здравствуйте, сто гусей! — Нас не сто. Вот если б было еще столько, да еще полстолька, да еще четверть столька, то было бы сто. Сколько гусей было в стае?» Или: «Бахус, воспользовавшись сном Силена, взял его урну с вином и стал пить. Но

недолго ему пришлось наслаждаться: Силен проснулся, вырвал у него урну и потопил свое горе в остатках вина. Бахус пил в течение трех десятых того времени, какое нужно было бы Силену одному, чтобы выпить целую урну. Если бы с самого начала оба принялись пить вино из урны в одно и то же время...» Эта задача осталась без решения — слишком интересные пошли рассказы про Бахуса-Вакха, а также вакханок.

Дальше шла грамматика — писали тоже на печке, потому что можно было стирать, например, мягкие знаки в предложении: «Борись за уголь, сталь» — получалось: «Борис за угол стал». Писали и другие интересные фразы — если читать наоборот, выходило то же самое; называлось: перевертень. Самый лучший был придуман поэтом Державиным, стихи которого деду очень нравились, а Антону — нет, но за эту фразу Антон поэта очень уважал: «Я иду с мечем судия». Некоторое время Антон колебался: не считать ли лучшим перевертень «И суку укуси», но из уваженья к деду и Державину первое место оставил за ним.

В грамматике вообще увлекательного было много, всякие стихи.

Искусства ратного Суворов госп-1,  
В Италию вступивши лишь е-2,  
Разбил французов вне и замешал вну-3...

Или другие разные штуки. Почему говорят: ари-стократ, а не кричи-стократ, осто-рожно, а не осто-овесно, до сви-дания, а не до сви-Швеция?

Не скрыл дед и потясающее слово, с которым была связана страшная тайна. Все думают, что во всем русском языке есть только одно слово с тремя буквами «е»: *длинношеее*. И один дед знал второе. Однако предупредил, что больше его никому нельзя называть. Антон сразу догадался: кто услышит — умрет. Дед этого не исключал, но главное было в другом: дед высчитал, когда не только он, а всякий гражданин России будет знать *второе слово*. Сам дед до этого времени дожить даже и не думал, но полагал, что доживет Антон, проверит и скажет: «А ведь старик-то был прав!» На всеобщее раздумье дед клал четыре десятилетия. Дед, ты оказался точен: через сорок два года я прочел в «Учительской газете», что на этот вопрос ученики четвертого класса ответили хором: «Зме-е-ед!»

Потом Антон читал вслух — рассказы Толстого. Дед к этому времени начинал подремывать, но когда Антон, желая ускорить дело (вслух читать он не любил — слишком медленно), пропускал фразу-другую, дед, не открывая глаз, сонным голосом ее вставлял. Чтоб отбить время от скучного чтения, Антон спрашивал что-нибудь повеселее.

— Дед, а дразнилки у вас в семинарии были?

— А как же. Рядом был монастырь. Мы и дразнились: «Ай, монашка, ай монашка, куда делась твоя ряска?»

Дразнилка, с точки зрения Антона, была так себе.

— Скажи лучше про свеклу.

— *Nos sumus boursaci, edemus semper bougaci*. Мы бурсаки и едим всегда бураки.

Если рядом оказывался кто-нибудь, Антон начинал ерзать на стуле.

— Я же предупреждал, — говорил дед. — Для ребенка столько сидеть — противоестественно. Что, храпесидии устали?

Храпесидиями в семинарии назывались ягодицы. Было для этого еще одно слово, даже лучше первого: афедрон.

Наказаний у деда было два: не буду гладить тебя по головке и — не поцелую на ночь. Второе было самое тяжелое; когда дед его как-то применил, Антон до полуночи рыдал.

Как-то отец, проходя через кухню, услышал, что дед с Антоном беседуют на темы русской истории.

— И что же ты знаешь из истории? — остановился отец. — Ну хотя бы из начала прошлого века.

— Царствование императора Александра Благословенного, — подсказал дед.

— В это время начали строить шоссе из Петербурга в Москву, — сказал Антон. — А раньше были только грязные дороги, как в Чебачинске.

— А еще какие события?

— Еще открыли Лицей — это такой интернат, — где учился Пушкин. Еще — еще устроили главный банк для купцов, где они могли брать деньги, чтоб лучше торговать.

— А какое было главное событие?

Антон подумал:

— Основание Одессы. Город порто-франко.

Что такое порто-франко, Антон не понимал, но очень нравилось само слово.

— Ну, а все же самое главное событие? Мировое? Не помнишь? Изгнание Наполеона, взятие Парижа!.. Да, история у вас с дедушкой какая-то немасштабная... Впрочем, пока всем этим не занимайтесь. Историю будешь изучать в четвертом классе.

Два раза в неделю было чистописание. Дед доставал пожелтевшие, истрепанные прописи и уходил делать что-нибудь по хозяйству, а Антон выводил по косым линейкам пером № 86: «Богъ правду видит, да не скоро скажетъ».

В мае был экзамен. Старая учительница Клавдия Петровна должна была проверить, может ли Антон идти во второй класс. Экзамен почему-то состоял только из диктанта: «Девятое мая — это был день Победы. Мы ходили на площадь. Знамя несли Коля и Ваня». Клавдия Петровна прочитала, что написал Антон, исправила что-то красными чернилами и еще долго молча смотрела в тетрадку. Потом сказала:

— Давно я не видела ера в ученической тетради.

— Там ошибка?

— Нет, все в порядке, за диктант — пятерка.

Клавдия Петровна взяла кожаный потертый ридикюль с никелевым рантом — точно такой же был у бабки, его она купила перед первой войной, достала из него крошечный носовой платочек, но потом положила обратно.

Дома Антон спросил у деда, что такое «ер». Дед ответил, что твердый знак. В диктанте в слове «быль» красными чернилами был зачеркнут «ер».

Первого сентября я с огромным и слегка кособоким телячьим ранцем, который шили всей семьей, в трофейных, застегнутых под коленками брючках-гольф, шел в школу. Шел со страхом — чувствуя себя слабым в переводе простых дробей в десятичные, боялся, что это сразу обнаружится, потому что первой в расписании стояла арифметика. Но на уроке почему-то долго копались в примерах на вычитание и сложение в пределах сотни — над тем, что мы с дедом делали устно. Видимо, дроби должны были переводить на следующем уроке. Но и на следующий день занимались тем же. На уроке письма ни о каких частях речи и разборе по членам предложения, чего я тоже побаивался, не было и помина. Дед, не преподавав в начальной советской школе, имел смутное представление о ее программе и по ошибке подготовил Антона до четвертого класса включительно. Во втором классе делать ему было нечего, уроков он не готовил, целыми днями играя в лапту или «штандер» — игру, которой научил всех Кемпель. Но за первую четверть все оценки были отличные, только по военному делу была двойка.

Двойка в четверти! Отец пошел в школу. Там он, во-первых, поговорил с Клавдией Петровной, которая ставила пятерки ученику, за два месяца не открывшему учебник и

превратившемся в бездельника. Во-вторых, он поговорил с военруком Корендясовым. Выяснилось, что Антон — не военная косточка, про строй вообще не петрит ровно ничего, а когда военрук все же захотел его поощрить — он оказался первым на маршброске («он неслабый мальчик»), Антон издевательски крикнул: «Рад стараться!» Но — главное — освоить поворот, особенно «кругом»: пятка-носок. Военрук не поленился показать, как поворачивается Антон. Пяткой-носком там и не пахло.

Вечером пришел Бондаренко — отставной капитан, а ныне боец скотобойни. Взяли его туда за силу и меткость — по удару молотом он шел сразу же за кузнецом Переплеткиным и его братом; капитан всегда подчеркивал, что он, Бондаренко — боец скота, а не какой-нибудь съемщик (это значило: шкур) или стопорезчик. Но новую свою профессию он все равно не любил и говорил, что занимается ею только по необходимости, так как, кроме стрельбы из всех видов оружия, ничего больше не умеет; его мечтою был электрический скотоубой, как на знаменитых чикагских бойнях. По слухам, это собирались ввести на Семипалатинском мясокомбинате (том самом, который до войны строил отец Антона и где потом падала в обморок специалистка по Достоевскому). Бондаренко пришел в форме, с орденами, в сверкающих хромовых сапогах работы сапожника дяди Демы; пробелы военной подготовки Антона за первый класс были ликвидированы в полчаса. Тут же Антон узнал, что если тебя хвалит старший по званию, то надо говорить не «рад стараться», а «служу Советскому Союзу».

Антон привыкал. К тому, что в школьном задачнике и, очевидно, вокруг нет никаких купцов и фабрикантов, а есть колхозники, юннаты, стахановцы, и надо было высчитывать, сколько гектаров, а не десятин они засеяли и сколько тонн, а не пудов отгрузили за смену.

— Дед, а кто такой Стаханов? — спрашивал Антон.

— Да есть один такой шахтер — пьяница и жулик.

— Папа! — укоризненно говорила мама.

— Ну, сама и объясняй, — говорил дед.

Перед Новым годом Клавдия Петровна сказала:

— Дети!

Так называла только она, другие учителя говорили: «ребята».

— Дети! Скоро у нас в школе будет елка. Кто знает какие-нибудь стихи и песенки про Новый год?

Мишка, сосед по парте, прочел про то, как «на Спасской башне бьют часы двенадцать раз». Стихов этих Антон не знал, они ему понравились, и он сразу их запомнил — он всегда запоминал стихи, которые нравились, с первого раза. И Васька Гагин прочитал хорошее стихотворение:

Белый снег пушистый  
В воздухе кружиста  
И на землю тихо  
Падает-ложиста.

Антон осмелел и тоже поднял руку. Теперь он это делал как следует: сгибал руку в локте, а не просто тянул ее вверх, как в первый день, за что над ним вдоволь посмеялись.

— Что ты хочешь исполнить на елке, Антоша? — спросила Клавдия Петровна.

— Про Деда Мороза.

И Антон запел альтом как мог высоко:

Рождество Христово,  
Дедушка Мороз.  
Множество игрушек  
Дедушка принес.

— Садис, — сказала Клавдия Петровна; она говорила: «садис», «шыгать», «коришневый», «сделалса», «лёв»; Антону это почему-то очень нравилось. — Дедушка тебя научил? Это хорошая песенка, Антон, но ты ее споешь в другое время.

Другое время наступило нескоро. Антон обучил этой песенке дочь Дашу, однако пела она ее только дома и то стеснялась. Но недавно внучка Антона Маша спела ее на елке; песенка молодой учительницей была одобрена.

Какие-то казусы все время случались на уроках истории СССР в четвертом классе. Рассказывая про жизнь древних славян, Антон бодро затарабанил по Иловайскому: «Славяне были нетребовательны в пище — они довольствовались мясом, хлебом, медом и молоком». Класс, питавшийся преимущественно картошкой, грохнул хохотом. В другой раз Антон, освещая революционную ситуацию в деревне, сказал:

— Деревня выступала за большевиков. Туда приезжали инвалиды-пропагандисты.

— Почему инвалиды? — возмутилась учительница.

Этого Антон не знал. Но дед всегда говорил только так: в Мураванке все было тихо, но приехал инвалид-пропагандист. Или: имение Жулкевских стояло нетронутым, но тут явились два инвалида-агитатора и усадьбу сначала разграбили, а потом и вообще сожгли.

И еще долго Антон будет говорить «Александр Второй, Царь-Освободитель», а на уроках географии — «Северо-Американские Соединенные Штаты», «Северный Ледовитый и Южный Ледовитый», и на уроках физики — что радио изобрел Маркони, называть перенос единитной чертой и писать иногда по рассеянности в конце слов еры, что будет особенно раздражать преподавательницу литературы, считавшую, что Антон делает это из хулиганства.

# Гений орфографии Васька Восемьдесят Пять

Всякий раз, когда Антон видел кирпич или слово «кирпич», он вспоминал Ваську Гагина, который это слово писал так: *кердпич*. Слово исчерчивалось красными чернилами, выводилось на доске. Васька всматривался, вытягивал шею, шевелил губами. А потом писал: «керьпичь». Когда учительница поправляла: падежи не «костьвенные», а косвенные, Васька подозрительно хмурил брови, ибо твердо был уверен, что название это происходит от слова «кость»; Клавдия Петровна в конце концов махнула рукой. Написать правильно «чеснок» его нельзя было заставить никакими человеческими усилиями — другие, более мощные силы водили его пером и заставляли снова и снова догадливо вставлять лишнюю букву и предупредительно озвончать окончание: «честног».

Из своего орфографического опыта он сделал незыблемый вывод: в русском языке все слова пишутся не так, как произносятся, причем как можно дальше от реального звучания. Все исключения, непроизносимые согласные, звонкие на месте произносимых глухих, безударные гласные — все это бултыхалось в его голове, как вода в неполном бочонке, который везут по ухабам, и выплескивалось с неожиданной силой.

В четвертый класс измученная Клавдия Петровна перевела Ваську с переэкзаменовкой по русскому языку. Васькин дядька (родителей у него не было) отчесал его костылем. И пообещал повторить воспитание осенью, если Васька не перейдет в следующий класс.

Надо было Ваську выручать. Мы стали писать с ним диктанты. Результат первого был ошеломляющ. В тексте из ста слов мой ученик сделал сто тридцать ошибок. Дед посоветовал, проработав их с Васькой, ту же диктовку повторить. Васька сделал сто сорок. Дед сказал, что за тридцать пять лет преподавания такого не видывал — даже в партшколе и на рабфаке. Мне тоже с тех пор приходилось читать разные тексты — заочников, слушателей ветеринарных курсов, китайцев, вьетнамцев, студентов с Берега Слоновой Кости, корейцев. Ничего похожего не было и близко. Думаю, и не будет. Васька был гений неграмотности, и как всякий гений был неповторим. Где, чья изощренная фантазия додумалась бы до таких шедевров, как «пестмо», «педжаг», «зоз-тежка»? Когда и кто бы еще смог «абрикос» превратить в «аппрекоз»?..

Это был мой лучший друг. Когда в четвертом классе (Вася бы написал: «в клазсе») учительница дала тему домашнего сочинения «Мой друг», я не размышлял и секунды. Начало пошло легко: «У меня есть друг Вася. Мы во всем помогаем друг другу. Летом, когда было очень жарко, мы писали с Васей диктанты». Однако дальше, когда надо было осветить уже Васькину помощь другу, то есть мне, писанье застопорилось. В памяти всплывало что-то не то: как Вася таскал для меня огурцы с теткиной грядки или отдал обратно часть выигранных у меня же перышек, чтобы мы могли играть в эту запрещенную азартную игру дальше. Или вспомнилась история со штанами. Была такая веселая забава: пока ты купаешься в речке, твою штанину завязывают узлом. Узел затягивают двое — вроде перетягивания каната. После этого штанину еще замачивают. Развязать такой узел детскими пальцами и зубами практически невозможно. Я энергично приступил к описанию подобного эпизода, где главным героем был Вася. «Однажды жарким знойным летом, когда все живое стремится к воде, мы пошли купаться». Начало своей художественностью мне понравилось. Но дальше пошло хуже: «Пока я купался, Вася не дал завязать узлом мою штанину...» Это была неполная правда, и я добавил: «и замочить ее в тине, чтобы она стала грязная и скользкая и чтобы ее нельзя было развязать». Это была уже неприкрытая правда. Но что-то главное из масштабов Васиной услуги все же ускользало. Я долго грыз конец ручки, выплевывая голубую краску, и закончил: «И я не пошел домой без штанов». Получилась уже полная чепуха. Явно не подходила для школьного сочинения и другая тема,



связанная с Васиным великодушием и добротой, — как он всегда оставлял докурить своим товарищам не «двадцать», а «сорок», т. е. окурок, составляющий лишь немногим меньше половины папиросы.

Но сочинение не могло остаться без конца. Не миновать было обращаться к деду. Правда, он мог сказать: «Неудобовразумительно, в написании очень длительно». Дед сказал, что можно ограничиться одной фразой общего характера, и тут же такую фразу предложил: «Приятель в моих делах также принимал живейшее участие, оказывая мне всяческую помощь, и во всех превратностях судьбы на него можно было положиться вполне». При этом дед особенно хмурил брови — как всегда, когда усиливался не рассмеяться. Но я очень торопился, и мне было не до дедовых бровей.

Через два дня Клавдия Петровна, раздавая сочинения, спросила:

— Антон, а какие превратности судьбы ты имел в виду?

Я молчал, потому что «судьба» в моем сознании тесно связывалась со словом «суд» — в этом соседстве они всегда оказывались в речах и деда, и бабки. Объяснить это было сложно. Но я все-таки выдавил:

— Это когда меня будут судить.

— Судить? — поразила Клавдия Петровна. — Тебя?..

— Ну, когда я вырасту.

Клавдия Петровна больше не расспрашивала.

Когда в этот приезд Антон ее навестил, ей, как и деду, было за девяносто, она уже не помнила ничего и Антона. Но когда он произнес: «превратности судьбы», в ее водянистых глазах что-то засветилось:

— Да, это ты... и Вася. Как же! — учительница оживилась. — Он еще писал «пестмо», а «во втором» — с четырьмя ошибками: «ва фтаромм». Надо ж было изобрести! — она восхищенно всплеснула слабыми руками. — Это мог только он!

Но прославился Василий не своей орфографией, с которой был знаком лишь узкий круг. Славу ему принесло художественное чтение стихов — его главная страсть.

На уроках он о чем-то думал, шевеля губами, и включался только когда Клавдия Петровна задавала на дом читать стихотворение.

— Назуст? — встрепенывался Васька.

— Ты, Вася, можешь выучить и наизусть.

Он выступал на школьных олимпиадах и смотрах. На репетициях его поправляли, он соглашался. Но на сцене все равно давал собственное творческое решение. Никто так гениально-бессмысленно не мог расчленить стихотворную строку. Стихи Некрасова

Умру я скоро. Жалкое наследство

О родина, оставлю я тебе

Вася читал так:

— Умру я скоро — жалкое наследство! — и, сделав жалистную морду, широко разводил руками и поникал головою.

Отрывок из «Евгения Онегина» «Уж небо осенью дышало», который во втором классе учили наизусть, в Васиной интерпретации звучал не менее замечательно:

Уж реже солнышко блистало,

Короче: становился день!

После слова «короче» Вася деловито хмурил свои темные брови и делал рубящий жест ладонью, как зав. роно Крючков.

Энергичное обобщение в стиховой речи Вася особенно ценил. Строку из «Кавказа» «Вотще! Нет ни пищи ему, ни отрады» он сперва читал без паузы после первого слова (его он, естественно, принимал за «вообще»). Но Клавдия Петровна сказала, что у Пушкина после него стоит восклицательный знак, а читается оно как «вотще», то есть «напрасно». Вася, подозрительно ее выслушав (учителям он не доверял), замечанье про «вотще» игнорировал, про паузу принял и на олимпиаде, добавив еще одну домашнюю заготовку, прочел так: «Ваще — нет ни пищи ему, ни отравы!»

В «Родной речи» были стихи:

Я — русский человек, и русская природа

Любезна мне, и я ее пою.

Я — русский человек, сын своего народа,

Я с гордостью гляжу на Родину свою.

Имя автора изгладилось из моей памяти. «Любезна» и «пою» тяготеют к державинскому времени, но «сын своего народа» — ближе к фразеологии советской.

Вася, встав в позу, декламировал с пафосом:

Я русский человек — и русская порода!

И гулко бил себя в грудь. По эффекту это было сопоставимо только с выступлением на районной олимпиаде Гали Ивановой, которая, читая «Бородино», при стихе «Земля тряслась, как наши груди», приподняла и потрясла на ладонях свои груди — мощные, рубенсовские, несмотря на юный возраст их обладательницы.

Шедевром Васи было стихотворение «Смерть поэта»: «Погиб поэт — невольник! Честипал! Оклеветанный! — Вася, как Эрнст Тельман, выбрасывал вперед кулак. — Молвой с свинцом!»

Дальнейшую интерпретацию текста за громовым хохотом и овацией разобрать было невозможно. Васька был гений звучащего стиха.

Его пробовали исключать из списка участников очередной олимпиады. Но на совещании директоров школ-участниц зав. роно Крючков неизменно спрашивал директора нашей школы: «А этот, поэт-невольник, будет что-нибудь декламировать?» И Гагина срочно вписывали обратно.

Начиная с четвертого в каждом классе он сидел — все из-за того же русского языка — по три года. Дядька после получения очередного известия о второгодничестве вздувал Ваську костылем, после чего воспитательный вопрос считал исчерпанным.

К шестому классу это был здоровый 16-летний парень с мощной мускулатурой и широкими плечами. Начиная с мая месяца он ночевал не в избе, а на сеновале. Вскоре туда же переселялась Зинка, его кузина, в свои пятнадцать выглядевшая на девятнадцать. Все лето Васька жил с ней как с женой (они даже ругались по утрам и Зинка, девка здоровая, один раз спихнула Ваську с повети). Тетку это почему-то не волновало; каждый вечер, после ужина, она командовала: «Дети, марш на сеновал!» (Зимой эти дети жили с нею и ее мужем в одной комнате). Васька свою связь передо мной не скрывал, но особенно про нее и не распространялся — может

потому, что я смертельно ему завидовал.

В шестом классе они уехали в свою деревню. Последним, дошедшим до меня в чужой передаче его шедевром было слово «арарх» — так, полагал Вася, называлось явление, обозначаемое в учебнике как «феодалная иерархия».

Прозвище у Васьки было «Восемьдесят Пять». Почему — никто не знал. Но Ваське оно чем-то очень подходило.

# Кооперативный конь Мальчик, или Черепаха Наполеона

У Банной Горки понуро стояла серая лошадь, без уздечки, непривязанная. Рядом курил мужик.

— Твоя, что ли? — спросил Антон.

— Ну.

— А неподкованная почему?

— Банная. Больная. Забивать надо, а на бойне не берут.

— Что ж будешь делать?

— А пускай стоит. Можя, сама околеет. Два раза уже выгонял с конного двора — приходит обратно. Двадцать девять лет коню. Куда уж.

Двадцать девять! Именно столько лет было Мальчику, главной и единственной тягловой силе кооператива «Буденновец», организованного семью преподавателями Чебачинского горно-металлургического техникума в сорок третьем году, когда им полгода не выдавали жалованья и они только расписывались, что добровольно перечисляют его в фонд обороны.

Название придумал парторг Исаканов:

— Так будет политически грамотно. Никого не удивит. И намек на коня.

Конь, которого приобрели кооператоры, был комиссованный, со съеденными зубами 29-летний мерин, худогривый, но хвостатый и редкой масти: спереди мухортый, а дальше чальый, но в пежинах, отец говорил, что в яблоках, но было ясно — чтобы поднять его лошадиный престиж.

Ирония названия кооператива заключалась в том, что Мальчик был никоим образом не буденновец, а совсем даже колчаковец, мобилизованный в Омске и исправно служивший в Белой армии, в перипетиях гражданской войны оказавшийся от Омска в двухстах километрах — в Чебачинске. Старый конь, не страшившийся ни выстрелов, ни огня костра, единственно чего боялся — это красных знамен и людей в красноармейской форме, при виде их шарахался и мог понести. А так как по улицам тихого и глухого Чебачинска почему-то все время с пением и посвистом маршировали красноармейцы, то недостаток этот оказался существенным. К счастью, вскоре он самоликвидировался: ввели новые знаки отличия, и Мальчик не только перестал шарахаться от воинских колонн, но начал проявлять к ним острый интерес и все время норовил подъехать поближе к командиру в золотых погонах, сминая при этом строй. Дорогу кооперативный конь запоминал с первого раза лучше опытного шофера, и даже завуч Канцевич благополучно довозил до дому сено или картошку.

Мальчик являлся единственным имуществом кооператива и его основой. «Транспорт — наше все», — говорил отец. Или, привезя на Мальчике очередной воз: «Солома решает все».

Жил Мальчик у Саввиных-Стремоуховых. Остальные члены «Буденновца» не знали не только как ухаживать за конем, но и как его запрягать. Профессор Резенкампф, ссыльный ленинградский немец, собираясь воспользоваться транспортным средством кооператива, вынимал кожаную записную книжку с золотым обрезом, укреплял ее на воротах и начинал запрягать, справляясь с чертежиком, который нарисовал со слов отца. И все делал вполне успешно: под чересседельник не забывал подкладывать потник (сушившийся у печки, отчего в комнате всегда пахло лошадью), даже перед затягиваньем подпруги заправски пихал коня кулаком в брюхо, чтобы тот выпустил воздух, — пока не доходило до хомута. Хомут в своем рабочем положении, то есть клещевиной вниз, не налезает на конскую голову. Его надо перевернуть и, надев, уже на шее, перевернуть обратно, после чего клещевину можно стягивать

супонью. Отец, обычно присутствовавший при процессе как консультант, молча переворачивал хомут, надевал и снова переворачивал. «Думкопф!» — бил себя по лбу профессор и делал помету в книжке; в следующий раз все повторялось.

Летом Мальчик обеспечивал сенокос, возил тяжелые возы. Воз с сеном отец умел пригнести бастрыком и увязать конопляной веревкой дедова производства так, что когда однажды при виде колонны красноармейцев Мальчик шарахнулся и телега опрокинулась, сена не вывалилось ни охапки, солдаты поставили телегу на колеса, и воз покатил дальше. На пырее и лесном разнотравье Мальчик глажел, шерсть начинала блестеть, и дед, чистя его, кричал от удовольствия. Антону казалось, что коню больно от железной скребницы, но дед говорил, что шкура у него толстая, как подметка, и ему только приятно. Мальчик действительно довольно пофыркивал, и Антон декламировал в такт: «Скреб-ни-цей-чи-стил-он-ко-ня». Из рыжей шерсти, набивавшейся в скребницу, получались вполне приличные мячики, которыми можно было играть в лапту, — о резиновых только слышали.

Антон на покос стали брать, когда он учился в старших классах. Делянки нарезали далеко; выезжали на неделю-две, жили в шалаше. Косили всегда с коллегой отца — преподавателем педучилища. До войны он состоял редактором местной газеты, но допустил политическую ошибку и чудом избежал ареста — только потерял должность. Фамилия его была Улыбченко. Это был маленький человечек, который никогда не улыбался. В войну он попал в плен, но, пройдя все фильтрационные советские лагеря, был отпущен и даже преподавал литературу. Однако когда вскоре местному НКВД спустили разнарядку на двух человек по линии связи с зарубежными разведками, Улыбченко оказался первым и бесспорным кандидатом.

Всю жизнь он писал диссертацию «Пословицы и поговорки»: до посадки — «в трудах И. В. Сталина», после — «в докладах и выступлениях Г. М. Маленкова», затем — «в речах и беседах с народом Н. С. Хрущева». В последний раз, когда его, уже седого, Антон встретил во дворе МГУ на Моховой, он прикреплялся к кафедре русского языка, чтобы писать у Галкиной-Федорук диссертацию «Пословицы и поговорки в трудах Л. И. Брежнева». Косил он хорошо.

Улыбченко считал, что Антон тоже косит хорошо, отец же говорил — «на хорошую тройку». Практики, конечно, было маловато. Антон считался на подхвате — собирал сучья для костра, мыл посуду, ездил на озеро Котуркуль за водой. Воду он возил в маленьком пузатом бочонке на багажнике велосипеда Улыбченки. Подразумевалось, что весь обратный путь Антон идет пешком, ведя велосипед, ибо при езде с полным бочонком по проселку можно упасть. Но Антон обратно тоже ехал, а сэкономленное время использовал для неторопливого купанья в прозрачном, как слеза, озере. Однажды, когда отец косил на дальней делянке, Антону вдруг стало так тоскливо и захотелось домой, что он, приколов над входом в шалаш записку, бежал и к ночи был уже дома; никто не поверил, что 14-летний мальчишка все двадцать километров проделал пешком.

По вечерам у костра Улыбченко рассказывал про концлагеря. В советских было голодней — в немецких всем несоветским пленным поступала помощь от Красного Креста и еще откуда-то (наше правительство от всякой подобной помощи отказалось), союзники делились, особенно французы и особенно после того, как выяснилось, что Улыбченко считает Наполеона величайшим человеком. Антон тоже считал его величайшим и поэтому Улыбченке прощал многое — даже то, что тот будил его в шесть утра бодро-отвратительным пеньем: «На зарядку! На зарядку! На-зарядку-на-зарядку... становись!!!»

Бонапартизм Антона начался еще до школы, когда дома пели «По синим волнам океана». При словах «Лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог» у Антона набегали слезы, но когда пели про маршалов, которые ему изменили и продали шпагу свою, от обиды за императора и злости на маршалов слезы высыхали. Пели и другую, тоже очень хорошую песню

«Шумел, горел пожар московский» про то, как Наполеон в сером сюртуке стоял на кремлевских стенах: «Он видел огненное море, он видел гибель впереди, и призадумался великий, скрестивши руки на груди». Еще там были такие замечательные слова: «Судьба играет человеком, она изменчива всегда, то вознесет его над веком, то бросит в бездну без стыда». Из деда, отца, соседа Гройдо Антон постепенно вытряс все, что они знали об императоре, даже бабка припомнила два анекдота из французской хрестоматии, разрешенной для вечернего чтения в институтах благородных девиц. Правда, одновременно Антон любил врага Наполеона — адмирала Нельсона (это напоминало Антону раздвоение его чувств между Клавой и Валею и сильно его смущало). Сигнал, который адмирал поднял на мачте перед Трафальгарским сражением, стоил знаменитых наполеоновских приказов: «Англия ожидает, что всякий исполнит долг свой». Книга Тарле «Наполеон», подсунутая отцом, стала откровением.

— Он выиграл сорок сражений, — говорил Антон заехавшему к косарям Гройдо, говорил взволнованно: сосед не разделял любви к императору. — Это понятно: великий полководец. Но он составляет Кодекс Наполеона, по которому живет Франция! В горячей Москве он подписывает устав Комеди Франсез, который и сейчас действует в этом театре! Он расширил представление о человеческих возможностях вообще. Он...

— История причудлива, — задумчиво сказал Гройдо. — Мог ли кто представить, что не герой Стендаля, не русский поэт пушкинской поры, а юноша в сибирско-казахстанской деревне через сто тридцать лет будет с таким чувством говорить об императоре французов!

И не раз позже, с тем же задумчивым любопытством поглядывая на Антона, спрашивал бывший присяжный поверенный Борис Григорьевич Гройдо:

— Ну что, студент-историк (аспирант-историк), какие мысли об узурпаторе посещают нас теперь?

А Антон, не растеряв горячности, отвечал:

— Вопросы. Почему именно он узурпировал тему вставания из гроба? Почему она вдохновляла и Зейдлица, и Гейне, и Жуковского, и Лермонтова? Может, это и есть подлинное величие — все ощущают странность того, что такое сверхчеловеческое могущество ушло в землю? И подсознательно не желают с этим смириться?

Бабкиной знакомой и Антоновой частной учительнице английского миссис Кошелевой-Вильсон в Карлаге один француз рассказал про черепаху Наполеона. На острове Св. Елены император после обеда всегда выходил в сад покормить небольшую галапагосскую черепашку, которую очень любил. Он щелкал пальцами, черепаха выползала на дорожку и съедала с его ладони крошки и кусочки фруктов; он сосредоточенно-пристально смотрел, как она медленно, долго уползала обратно, и не уходил, пока она не скрывалась в траве. И теперь, когда на остров приезжают редкие туристы, гид, поведив их по последнему дому Наполеона, в конце экскурсии раскрывает дверь в сад. Туристы высыпают на песчаную дорожку. Гид сначала объясняет им, как долго живут черепахи: черепаху Туи Малилу, здравствующую и по сей день на одном из островов Тонга, островитянам подарил в 1772 году капитан Кук; сменявшиеся настоятели прихода Питерборо в Англии 250 лет держали при церкви одну и ту же черепаху. Потом гид щелкает пальцами, раздается треск веток, тяжелое шуршанье, и из кустов показывается огромная, величиной с прогулочную лодку, галапагосская черепаха. Гид опять щелкает пальцами, черепаха вытягивает из-под панциря длинную морщинистую шею.

— Вы видите, господа, — почти шепотом говорит гид, — последнее живое существо на планете, которое помнит Великого Императора.

Публика затихала, французы плакали. Черепаха поводила полуслепой головой, потом медленно убирала ее обратно в панцирь и застывала, как подбитый танк на поле боя.

В 150-летнюю годовщину смерти Наполеона прошел слух, что черепаха еще жива и по-

прежнему выползает, совершенно ослепшая, с головою, покрывшейся какой-то белой плесенью. В самый день Антон читал дочке Даше: «Чудесный жребий совершился: Угас великий человек, В неволе мрачной закатился Наполеона грозный век» и рассказывал ей про черепаху императора; Даша слушала и моргала своими глазами.

Антон послали за хворостом для костра — надо было накормить гостя. Под это дело Антон решил заглянуть на позавчерашний покос, где, он помнил, было много земляники. На поляне почему-то стояла телега, запряженная низкорослой мохнатой лошадкой, и какой-то мужик, торопясь, наваливал сено — их сено! Антон, ступая, как Кожаный Чулок, скрылся за кустами и опроретью помчался к шалашу; через минуту отец уже бежал впереди Антона, держа наперевес вилы, как участник крестьянского восстания Болотникова, — и успел схватить под уздцы отъезжающую лошадь. Мужик спрыгнул с воза тоже с вилами и попытался пырнуть ими отца — тот отбил. Мужик сделал еще выпад — отец отбил с лязгом. Антон раскрыв рот смотрел на это фехтование. Отец кинул на него короткий взгляд (Антон долго его вспоминал) и закричал мощно: «Трофимыч! Григорьич!» Услыхав, что есть еще Трофимыч с Григорьичем, мужик бросил вилы, отскочил за куст и, быстро сделав удивленное лицо, забормотал:

— Дак я как? Смотрю — сенцо ничье, можа, думаю, не вывезли, дак я что...

Прибежал Николай Трофимыч, за ним, не торопясь, шел Борис Григорьич. Мужика бить не стали, но заставили отвезти ворованное сено к главному стогу, да перевезти туда же еще две копешки. С транспортом было туго, Мальчика вспоминали часто.

Но и когда Мальчик еще существовал, сена на всю зиму все равно не хватало, особенно когда на постое находилась корова профессора Резенкампа; докупали на базаре. Подвозили сено исключительно казахи. Косить они не умели и не любили, нанимали мужиков из ссыльно-кулацких семей, могучих косарей. Но казахам, хотя они тоже были колхозниками, разрешалось держать индивидуальных лошадей, то есть иметь транспорт, русские же вывозили сено на коровах, на себе (в двуколки впрягались всею семьей), ощущая это как глубокую несправедливость, межнациональных отношений это не улучшало. Гройдо в бытность свою большим начальником по национальным вопросам стоял у истоков подобных указов и пробовал объяснять, что власть поступила разумно, исходя из национальных привычек степного народа, — его чуть не побии.

— А можа у меня тоже национальные привычки — не мене ихих! — наскакивал грудью нервный Петя-партизан и шарил рукою у пояса. — У мово бати целый косяк был! Да не этих косматых — настоящих коней! А я не могу себе кобылу завести — к доктору съездить.

Неравенство было ликвидировано при Хрущеве, когда коней казахам велели сдать. Аксакалы, с трудом спешившись на исполкомовском дворе, обнимали своих низкорослых мохнатых лошадок и плакали. Лошадей по сходням загоняли в кузова грузовиков и куда-то отправляли. «Боюсь, — сказал дед, — что будет то же, что на Украине, когда отобранный в двадцатом году у помещиков, а через десять лет уже и у мужиков скот сгоняли в одно место, где от бескормицы получился почти поголовный падеж».

Зимой отец ездил на Мальчике в дальний колхоз, в Успенно-Юрьевку, где всегда под снег уходило невывезенное сено, которое колхоз задешево продавал всем, кто отваживался его откапывать и через Степь, где не было езжалой дороги, перевозить в тридцатиградусный мороз с ветром.

В одну зиму снега было особенно много, и отец припозднился. Ехал, в уютной сенной норе, наслаждаясь летним степным ароматом разнотравья. Мальчик бежал, как всегда, впритруску, неспешной побегой. Вдруг сзади в темноте появились желтые огоньки. Волки! Отец протянул Мальчика кнутом, что делал редко, тот надал, но воз был тяжел, огоньки приближались. Отец зажег большую охапку сена и бросил на дорогу. Волки переждали, но потом опять стали

нагонять. Отец зажег еще сена, и еще. Ветер, дувший сзади, относил пылающие клочья иногда прямо в морду Мальчику, но боевой конь и ухом не вел, а только прибавлял ходу, сколько было в его силах; отец знал, что их у старика немного. Сено быстро убывало; отец начал экономить, но маленькие клоки прогорали в одно мгновение или вообще гасли в снегу. Тогда можно было увидеть, что волки совсем близко; некоторые пытались забежать вперед, обогнав сани по целине, однако мартовский снег был слишком глубокий и рыхлый. Все равно дело было дрянное. Отец приготовил вилы. Но тут показались огни Каменного Карьера. Волки отстали.

На Мальчике из роддома привезли маму вместе с новорожденной сестрой Наташей. Отец клялся, что Мальчик, увидев сверток с младенцем, заулыбался и вез телегу очень осторожно по глубокой — по ступицу — осенней грязи.

Антон это несколько не удивило — от коня он ожидал и не такого. Вальке Шелепову он рассказывал, что когда Мальчик служил в Первой конной Буденного, то вместе со своим хозяином попал в плен. Хозяин ночью лежал связанный, а Мальчик пасся рядом. Красноармеец тихо его позвал, конь подошел, все понял, поднял хозяина зубами за веревку и ускакал с ним своим. Сюжет Антон не выдумал, а только слегка подновил — подобная история случилась с арабским скакуном в Африке во время англо-бурской войны и вполне могла произойти и с таким умным конем, как Мальчик. Васька Гагин, узнав, что есть такая замечательная история, попросил рассказать ее и ему, что Антон и осуществил, но опрометчиво сделал это в присутствии Вальки — опрометчиво потому, что на этот раз Мальчик служил у белых и в плен попадал к красным; произошел конфуз. Антон, впрочем, был не сильно виноват: в общих разговорах кооператоров подчеркивался буденновский характер биографии Мальчика, но наедине отец не раз называл его колчаковской мордой. В этих красных и белых, как в купцах и колхозниках, Антон долго путался. Буденновцы были лихие кавалеристы, у них к тому же были тачанки-ростовчанки, но Сумбаев как-то, выпив, сказал, что лучшая кавалерия была у Шкуро, а потом выяснилось, что это белый генерал; Куркун рассказывал про каких-то дроздовцев, которые ходили в героический ледовый поход и тоже оказались белыми; с Махно было совсем неясно из-за его лозунга «бей белых докрасна, а красных добела»; воевала в гражданскую еще какая-то Вторая конная Миронова, про которую вообще никто ничего не знал, кроме отца Вальки Шелепова, который в ней служил и говорил под большим секретом, что она-то и была самая главная.

Из исполкома пришла бумага: имя — Мальчик, пол — муж. (мерин), паспорт — серия, номер (у всех лошадей, в отличие от колхозников, были паспорта) наряжался на трудгужповинность, прилагались нормы на тягловую единицу — верблюда, осла, быка, мула, мерина, кобылу жеребую (на нее норма снижалась). Согласно разрядке на Мальчике предстояло вывезти тридцать хлыстов сырого леса — не уложиться за зиму. Кооператоры было заволновались, но выяснилось, что предусмотрительный Канцевич при покупке коня запасся документом, подписанным начальником геологического управления Омска и горветеринаром, где значилось, что лошадь комиссована по таким-то и таким-то статьям и как военной, так и трудмобилизации не подлежит.

К концу войны Мальчик пал на ноги — его после тяжелой, с заносами мартовской дороги, не выстояв, опоил так и не научившийся обращаться с лошадьми Канцевич. Коня подвесили под крышей сарая на самой толстой матице на двух широких шкивах, которые одолжил мельник Шпара, — под грудь и живот; Мальчиковы ноги с опухшими бабками, костяно стучаясь копытами, печально болтались над землей — считалось, что так они отдыхают и конь оклемается.

Этого не случилось, Мальчика пришлось прирезать. Натекло два больших таза крови, которую запекли в русской печи, из мяса наделали котлет, и голодные члены кооператива



«Буденновец» пировали до глубокой ночи. Пили водку, которую получил за сданную картошку преподаватель физики Гнидняк; картошку эту физик отвозил на Мальчике, а его зарезали и пили эту водку, и ели котлеты. Канцевич, как рассказала на другой день его жена, ночью во сне два раза принимался ржать.

Прощальным приветом Мальчика были щетки, сапожные и половые, которые дед наделал из его длинного и густого черного хвоста; две недели мы прожигали раскаленным гвоздем дырки в тщательно оструганных дощечках; через отверстие пропускается пучок волоса, перегибается и просовывается в соседнее, под конец тыльная часть зажимается второй дощечкой. Одна из хвостяных щеток до сих пор служит мне — подобной по упругой мягкости и способности наводить блеск я не встречал даже у лучших в мире чистильщиков обуви — мрачных жуковатых ассирийцев у метро «Проспект Мира».

# Натуральное хозяйство XX века

Мальчик и корова Зорька были основой мощного и разветвленного хозяйства Саввиных-Стремоуховых. Выращивали и производили все. Для этого в семье имелись необходимые кадры: агроном (дед), химик-органик (мама), дипломированный зоотехник (тетя Лариса), повар-кухарка (бабка), черная кухарка (тетя Тамара), лесоруб, слесарь и косарь (отец). Умели столярничать, шить, вязать, копать, стирать, работать серпом и лопатой. Бедствиям эвакуированных не сочувствовали: «Голодаю! А ты засади хотя бы сотки три-четыре картошкой, да капустой, да морковью — вон сколько земли пустует! Я — педагог! Я тоже педагог. Но сам чищу свой клозет». Самой низкой оценкой мужчины было: топора в руках держать не умеет.

В этой стране, чтобы выжить, все должны были уметь делать все.

Огород деда, агронома-докучаевца, знатока почв, давал урожаи неслыханные. Была система перегнойных куч, у каждой — столбик с датой заложения. В особенных сарайных убегах копились зола, гашеная известь, доломит и прочий землеудобрительный припас. Торф, привозимый с приречного болота, не просто рассыпали на огороде, но добавляли в коровью подстилку — тогда после перепревания в куче навоз получался особенно высокого качества. При посадке картофеля во всякую лунку сыпали (моя обязанность) из трех разных ведер: древесную золу, перегной и болтушку из куриного помета (она стояла в огромном чане, распространяя страшное зловоние). Сосед Кувычко острил: пельмени делают из трех мяс, а у вас лунки из трех говн, намекая на то, что перегной брали из старой выгребной ямы и зола тоже была экскрементального происхождения — продукт сжигания кизяка. Другие соседи тоже смеялись над столь сложным и долгим способом посадки картошки, простого дела, но осенью, когда Саввины на своем огороде из-под каждого куста сорта лорх или берлихинген накапывали не три-четыре картофелины, а полведра и некоторые клубни тянули на полкило, смеяться переставали.

Про приусадебные участки друг друга знали все — кто что сажает, какой урожай. Обменивались сведениями и семенами; в горячую пору, если кто заболел или кого взяли на фронт, помогали вскопать огород, вырыть картошку. Огород был всем и для членов колхоза «Двенадцатая годовщина Октября», которым по трудодням платили какую-то чепуху (от колхозницы Усти я и услышал частушку про советский герб: «Хочешь жни, а хочешь куй — все равно получишь ...»), и для учителей, зарплаты которым не хватало, и для ссыльных, которых в любой момент могли уволить. После службы, после колхоза все копались на своих огородах до темноты; заборов не было — только межа; подходили, здоровались, разговаривали, опершись на вилы-четырёхрожки (мягкую землю картофельных делянок лопатой не копали). И — работа до седьмого пота; вся любовь к земле, полю, пашне, вся древняя поэзия земледельческого труда переместилась на огород.

На нашем огороде росло все. Тыквы выбухали огромные — делалось понятно, как такую волшебница в «Золушке» превратила в карету. Очень сожалел дед, что на приусадебных участках почему-то запрещали сеять зерновые.

Сахар исчез из магазинов в первый же день войны. Мама для детей иногда покупала у спекулянтов (одно из первых товарно-социалистических недоумений Антона: а они-то где брали?) стакан за сто рублей (учительская зарплата составляла тысячу триста). Пересыпала его аккуратно в особый мешочек. Дед почему-то всегда оказывался рядом, говорил:

— Мне сахар полезен.

Вздыхнув, мама отсыпала ему ложку или две.

Надо было налаживать сахарное производство. Засадили солнечную сторону огорода

сахарной свеклой. Все лето сушили и строгали, подгоняя заподлицо, доски для пресса; лучше всего были принесенные от Переpletкина болты: ласточкин хвост. Сахар почему-то не делали, а гнали коричневую патоку, но Антону она нравилась даже больше. Потом он не раз хотел сделать такую патоку для дочки, но как-то не собрался. Однако технологию запомнил на всю жизнь — со слов бабки, которая настойчиво делилась всякими рецептами; в ее глазах стояло постоянное удивление, почему все не работают так, как ее семья, — ведь вполне можно прокормиться в самое голодное время.

Приходил гость — из очередных бабкиных прихлебателей, как называла их тетя Лариса. Его поили морковным чаем.

— С сахаром? — хлебнув глоток, удивлялся гость, уже забывший вкус этого продукта.

Бабка объясняла: нет, с патокой. И тут же излагала рецепт. Сахарную свеклу, нарезанную мелкими кусочками, положить в глиняную посуду, плотно закрыть и поставить в русскую печь на два дня. Получится темная (почти черная!) масса. Ее процедить сквозь ткань (ежели у вас остались от старого времени ветхие простыни голландского или биельфельдского полотна — лучше всего!) и хорошо отжать (ну, у нас-то пресс, но можно и так). Сок налить в ту же посуду и поставить после затопки в печь. Когда он станет густой, как кисель, — патока готова. Из десяти фунтов сахарной свеклы выходит два-три фунта патоки. Из простой свеклы тоже можно, но получается меньше — фунта полтора. Если хотите хранить долго, добавьте одну-две ложки соды.

Гость, попивая сладкий чай, вежливо слушал, но всем, кроме бабки, было очевидно, что идеи выращивания сахарной, равно как и обычной свеклы, ее двухсуточного томления в печи, отжимания и проч. от него далеки, как небеса.

Прихлебателей было несколько. Главного я запомнил особенно хорошо. Фамилия его была Сухов. Это был высокий, худой мужчина с голодным блеском в глазах. Он садился и сразу начинал разговор про еду, про голодные времена, коих он в советское время насчитывал четыре. Бабке тема была близка: ее самый младший, восьмой ребенок умер в двадцатом году, когда у нее не стало молока; невероятными усилиями она сохранила детей во время голода на Украине в начале тридцатых. Рассказывала, как ели лебеду, крапиву, корни лопуха. Сухов слушал мрачно.

— А волка — вы — ели? — замогильным голосом спрашивал он. — Не — ели? Тогда вы не знаете, что такое настоящий голод.

Я представлял жуткие картины: Сухов поедает большого волка, такого, как на картинке к басне «Волк и журавль».

Второй прихлебатель — Лопарев — месяца три жил у нас. Бабка нашла его на улице. Он лежал у дороги и просил: «Убейте меня! Мне нечего жрать — убейте!» Но желающих убить Лопарева не находилось, как и желающих накормить, все проходили мимо, остановилась одна бабка, и не только остановилась, но и привела его к нам домой. Он рассказал, как где-то на севере пил теплый тюлений жир («Добродушные лапландцы, — зашептал Антон, — распрягши своих оленей, мирно пьют из толстых кружек благотворный жир тюлений») и как его потом тошнило. Лопарева бабка накормила и поселила в сарае, давала ему лекарства — у него после лагеря опухали ноги. Потом определила в сторожа поспевающего огорода, всегда страдающего от мальчишек. Лопарев исправно сторожил, даже спал на тулупе подле огуречной грядки. Сторожить, правда, было особенно нечего: в том году огурцов оказалось на удивление мало; впрочем, это вскоре разъяснилось: сторож приторговывал нашими огурцами и — что особенно восхитило отца, увидевшего в этом особый воровской шик, — не утруждался торговать похищенным продуктом где-нибудь подальше, а продавал его прямо перед дверьми учебного заведения, где работали и хозяин, и хозяйка вверенного ему огорода. Оправившись, Лопарев ухитрился устроиться сначала сторожем, а потом кладовщиком в райпотребсоюз и скоро стал

неузнаваем: защеголял в поношенном, но дорогом костюме и велюровой шляпе. К старикам ни разу не зашел. «Ведь она его спасла!» — удивлялась мама. — «Как ви наивни», — говорила тетя Лариса.

Третий прихлебатель был электромонтер Попов. Не успели мы привыкнуть к недавно проведенному электричеству, как оно стало постоянно гаснуть. Меня посылали за Поповым, ссыльным инженером, который жил в кладовке для протирной ветоши при электростанции. Он обувал кошки, лез на столб, свет загорался. Монтера, натурально, кормили. Первое слово, которое сказала моя маленькая сестра, было «попов». Наблюдательная тетя Лариса заметила, что свет в нашем доме гаснет гораздо чаще, чем у соседей; но наблюдательность ее простерлась дальше — она связала эти факты с посещениями Попова. Она стала усылать бабушку в другую комнату, когда после очередного включения на столбе заходил Попов, горячо его благодарила, долго трясла ему руку, но обедать не предлагала; так повторялось раза три. Свет гаснуть (а Попов приходит) перестал.

Тетя Лариса попросила деда придумать что-нибудь, чтобы отвадить и Сухова: «Мама же ему свой обед отдает. Смотри, как похудела». И дед попробовал. Когда Сухов являлся, он выходил и вежливо говорил: «Извините, у нас сегодня постное. С волчатиной в последнее время туговато». Но это не помогло, Сухов ходить продолжал.

Одно время приходил местный священник, именно к бабушке, дед его не любил за необразованность: «Он же говорит „вече’ря, послу’шник“ и в пасхальном каноне Иоанна Дамаскина — даже дети знают! — ухитряется вместо „мертвым во гробех“ спеть „во гробах“».

Была еще немка, которая, видимо, желая отработать ужин, вызывалась укачивать сестру Наташу, от нее в памяти Антона остались обрывки немецкой сказки, которую она рассказывала над зыбкой: «Schlaf, mein Augen, schlaf, andere Augen». <sup>[3]</sup>

Из картошки делали крахмал, на нем варили кисель из моркови, иногда овсяный, для чего на жерновках мололи овес Мальчика, — этот был еще противнее. Часть крахмала шла на отцовские манишку, воротнички и манжеты, ослепительность которых поражала каждого нового эвакуированного преподавателя: местные учителя ходили кто в чем, даже — в морозы — в ватных штанах. Отец не считал возможным носить и валенки, ходил — по предвоенной моде — в белых фетровых бурках, которые Антон ненавидел, так как ему приходилось их чистить пемзой и отрубями.

Украли сохнувший в палисаднике дедов дождевик (считалось: чеченцы). Потеря была ощутительная: деду приходилось проверять приборы на метеостанции в любую погоду. Целый день он перебирал ветхие газетные вырезки и нашел: чтобы сообщить ткани непромокаемость, нужно 1 фунт и 20 золотников квасцов распустить в 10 штофах воды и добавить уксусно-кислую окись свинца. Квасцы дома были всегда, окись свинца маме ничего не стоило получить в лаборатории; пропитали чудодейственным составом старую крылатку, которую до этого дед не носил, чтобы не шокировать местную публику, но выхода не было; мама находила, что теперь он похож на Несчастливцева из спектакля Малого театра.

Отец в разветвленном хозяйстве занимался самыми ответственными и тяжелыми делами — заготовкой дров и сена. Лесник Шелепов, ведавший отводом делянок для косьбы, утверждал, что лучшего косаря не видывал. «Все покосы его прогляди — ни одной выкоски». Отец же говорил, что на отчине, под Тверью, считался косцом средним.

В какой-то год, кажется сорок второй, колхозникам летом не отвели индивидуальных покосов, чтобы не отвлекать их от работы на полях, по этому поводу был митинг. Заодно покосы не дали и всем остальным жителям Чебачинска, неколхозникам, кто на полях летом никогда и не работал. Травы на лучших лугах вдоль речки перестаивали и пропадали. Косили все равно — на глухих полянах, а вывозили ночью, и сено можно было купить, но цены вспрыгнули

невероятно. Именно тогда бабушка продала свои и дедушкины обручальные кольца — толстые, дутые, она никак не могла снять свое, палец ей поливали мыльной водой (холодной, чтоб не распарилась кожа), но оно все равно долго не снималось. Продали и нательные золотые кресты, бабушка долго крестилась перед иконой и плакала, а мама протирала и кольца, и кресты слабым раствором соляной кислоты, чтобы золото имело товарный вид. (После смерти бабушки на дне ее сундука Тамара нашла тоже золотой крестик в бумажке с надписью: «Антошин крестильный» — его она, видимо, не считала себя вправе продать).

У меня тоже был фронт работ — в оврагах по-над речкой я заготавливал коноплю. Ее требовалось много. Сушили ее на крыше сарая, потом трепали, мочили, отделяли волокна от остья, снова сушили; из волокон дед плел и тонкие бечевки, и толстые веревки — почти канаты — необычайной прочности («Что твой джут!»). Часть бечевки натирала сапожным варом — зачем, я забыл, а спросить уж не у кого. Остатки конопельно-веревочного производства тоже шли в дело: остьем и неиспользованными побегими обкладывали на зиму фруктовые деревья — мыши не выносят запаха моченой конопли.

Было у меня еще одно важное занятие, которое, правда, не поощрялось. Я делал свечи. Вытапливал в большой жестяной миске стеарин из каких-то спрессованных вместе с проволокою пластин и разливал его по сделанным из плотной бумаги трубочкам разного диаметра с натянутым внутри конопляным фитилем. Точность требовалась ювелирная: фитиль должен идти строго по центру будущей свечи. В разгар этой деятельности мне пришла в голову прекрасная идея — свечи делать цветными. На роль красителя я определил порошок с чудным названием — «метилвайлет», который до этого шел на чернила. Но растворенный в воде порошок со стеарином почему-то не соединялся, я его подогревал, густая фиолетовая пена заливала плиту. Когда оказалось, что поданный к обеду молочный суп имеет нежно-фиолетовый оттенок, отец макнул меня физиономией прямо в тарелку с этим супом.

Варить мыло считалось делом простым: щелочь — NaOH да бросовый животный жир. Мыло, правда, получалось вроде хозяйственного, грязно-бледно-коричневое, вонючее, но функцию свою выполняло, хотя было едкое, и сильно намыливаться не рекомендовалось — по телу шли красные пятна; когда родилась сестра, для ее мытья сварили из стакана сливочного масла кусочек другого, туалетного мыла.

Хлеб тоже пекли сами. По карточкам его давали раз в неделю, а то и реже, в остальные дни отоваривали пшеном, шрапнелью, по'лбой (каша из нее Антону нравилась — за название). Сентябрь-октябрь в техникуме не учились, работая на уборочной (колхозников там в это время видели редко). Отцу и матери, выезжавшим со своими студентами, выписывали трудодни и как работникам, и как бригадирам (плюс один трудодень). За два месяца выдавали по два мешка зерна, которое возили на пармелницу или, если она не работала, мололи на ручных жерновках (разовый измолот был невелик, но крутили по многу часов всей семьей), потом бабушка пекла в русской печи хлеб. Позже, в Москве, мама не уставала удивляться, почему батоны черствеют на второй день. Не может быть, чтобы специалисты не знали, что черствение связано с ретроградацией крахмала — его обратным переходом из аморфной в кристаллическую форму и что чем лучше хлеб пропечен, чем он пористей, чем больше в нем клейковины, тем медленнее он стареет. Наш хлеб был мягким неделю. Егорычев рассказал, как булочник Филиппов проверял работу своих пекарей: садился на булку или калач. Если изделие потом принимало прежнюю форму, значит, хлеб хорош. Антону сильно захотелось есть на теплый каравай, но бабушка сказала, что это кощунство.

Самым тяжелым месяцем выходил январь, когда зерно, заработанное в колхозе, кончалось, корова — на издохе, давала, как плохая коза, и переставали — от холода — нестись куры. Ели картошку, морковь, свеклу. «Ничего, — говорил дед, — мы просто Великий Пост передвигаем

на январь». Несмотря на непрерывную, с утра до вечера, работу по пропитанию, жили все же голодно; я потом спрашивал, как жили те, кто так не работал, но на этот вопрос не мог ответить никто.

Мяли кожи — сыромятные, как наиболее простые в производстве; мама готовила какие-то растворы, в которых они долго и зловонно вымокали, и говорила, что хорошо бы выделять юфть, но это была кожа комбинированного дубления, в котором присутствовал деготь, а деготь гнать как-то не собрались. А хром можешь выделывать? — интересовался сапожник дядя Дема. Мама говорила, что конечно, но нет хромпика. Два дня Антон засыпал со словом «хромпик».

Из кож резали ремни для сбруи Мальчика. Но несмотря на всю химию, сыромятные ремни получались плохие, осклизлые, а затяг так затвердевал на морозе, что развязать его мог только дед своими железными пальцами; когда же деда дома не оказывалось, звали кузнеца Переплеткина.

Самым чувствительным было отсутствие клея — без него невозможно было изготавливать разные поделки из разрезного детского календаря и игрушки к Новому году. Из чего его только не делали — из крахмала, выварки рыбьей чешуи и телячьих копыт. Изо всего клей получался равно скверный. Антон очень обижался на автора «Двух капитанов», который много раз упоминал про сильный клей, изготавливаемый в романе Сквородниковым, но так и не сообщил рецепта.

Единственно, чего не производили в хозяйстве Саввиных-Стремоуховых, — самогона: мама считала, что на него уйдет слишком много дефицитной свеклы, да и в тайне сохранить такое производство не удастся, дело же было уголовное.

Но водку можно было получить и легальным путем, сдав сколько-то мешков картошки. И в один год, когда картофель особенно уродился, отец повез на Мальчике мешки — куда-то очень далеко. Вернулся он только вечером. За столом уже сидели званые и незваные — бабка, конечно, под большим секретом, разболтала про водочно-картофельную акцию двум-трем прихлебателям. Поскольку было неясно, когда отец вернется, стол не накрывали; мужчины нервничали.

Открылась дверь, и в клубах морозного пара на пороге появился отец. Над головой он воздымал большой, двухлитровый и слегка кривобокий графин изделия чебачинского стеклозавода; за мутноватыми стенками у самого горлышка полоскалась жидкость. Это была она.

— В мешках денюга и самогонка, — начал отец знакомую Антону нэповскую присказку, — и мы смеемся очень звонко!

С этими словами отец перегнулся через плечо низкорослого директора Насырова и крепко поставил графин на середину стола. И тут случилось нечто ужасное. Донушко посуды местного производства целиком отскочило внутрь. Драгоценная жидкость хлынула на стол. Он по торжественному случаю был накрыт новой довоенной клеенкой, и если сразу б догадаться поднять ее края кверху! Но все окаменели, как в немой сцене «Ревизора» в постановке маминого драматического кружка: кто с поднятой рукой, кто с открытым ртом. Когда все разом рванулись заирать клеенку, было уже поздно. Спасти удалось не более стакана. «Никогда еще мир не видел такого крушения великих надежд», — как было сказано в недавно прочитанном Антоном «Острове сокровищ» про пиратов, увидевших вместо клада золотых монет пустую яму.

Вершиной хозяйственно-производственной деятельности клана было изготовление медицинского градусника. Старый, еще дореволюционный, с медным наконечником вверху, бабка отдала одному из прихлебателей — только на час! больному ребенку! — градусника в доме больше не видели.

Ртуть, большую и малую стеклянные трубки принесла из лаборатории мама, потом их

заплавливали на примусе, дня три все повторяли замечательные слова: вакуум, шкала, градуирование. Совсем маленькой трубки не нашлось, поэтому градусник получился большой, вроде настенного. Впоследствии выяснилось, что у него есть еще один недостаток. На шкале прежде всего следовало как исходную отметить нормальную температуру — 36,6. Бабка сказала, что за эталон можно взять температуру деда, который ни разу в жизни не болел. Так и сделали, шкалу отградуировали, градусник запаяли. Но оказалось, что это была роковая ошибка. В ближайший же визит Нины Ивановны, которая с собою всегда носила термометр, деда проверили, оказалось, что у него — 37,1. На больного он не был похож, поэтому Нина Ивановна не поленилась прийти еще два раза. Выяснилось, что для деда это — норма, что у него редко встречающаяся особенность — постоянная субфебрильная температура; про особенность он не знал, ибо температуру мерил впервые в жизни. Очень завидовал такому свойству случайно оказавшийся при сем Гурий — с ним он бы не вылезал из бюллетней. Переделывать градусник было невозможно, и при измерении пользовались специальной таблицей, где в левом столбике было то, что показывает наш термометр, а в правом — истинная цифра. Плохо было и со стряхиванием, проще было исходную температуру вернуть, вынеся градусник ненадолго на мороз.

Не было ваты, щипали корпию; бабка отнесла целый пакет в госпиталь, там взяли, но потом бабка узнала, что молодая врачиха отдала ее корпию полумойке.

Но верхом мудрости Антону казалось составление календаря, чем дед занимался каждый год 31 декабря; рукописный календарь вывешивался вечером у него над тумбочкой. Было непостижимо, как можно узнать, в какие числа будет воскресенье, а в какие — понедельник, вторник.

Если б в дом Саввиных-Стремоуховых попал англичанин, он бы подумал, что тут живут члены некоего общества в Великобритании, не пользующиеся никакими новшествами, появившимися после 1870 года.

...Трещит лучина, угольки, шипя, падают в узкое корытце с водою. Скрипит гусиное перо; время от времени дед чистит его перочисткой. Дед пишет гусиным пером не из-за особой любви к старине. Обычные перья в войну были редкостью, их выпрашивали у него внуки, которые свои почему-то ломали. Для писанья годилось не всякое перо — только из маховых крыльев. Запас дед пополнял, когда из деревни приезжали на базар Попенки, — ихние гуси были крупные, с мощным крылом. Перо он очинял перочинным ножиком, втыкал в песочницу, которая появилась по той простой причине, что не было пропускной бумаги; он сам сеял песок, употребляя для этого мелкое мучное сито, что бабка считала негигиеничным, хотя он песок предварительно прокаливал на огне, а сито после использования мыл; присыпав написанный текст, дед ждал (чернила были жидкие, сохли плохо), потом аккуратно сдувал песок обратно в песочницу, песок в ней, однако, почему-то все равно убывал, что подвигало Антона на натурфилософские размышления.

При лучине сидели, когда еще не провели электричество, а керосин в одну зиму в Чебачинск не завезли. Для лучины годится не всякое полено, а березовое, ровное, без сучков. Его сначала распаривали в большом котле, потом подсушивали (в доме всегда стоял аромат сохнущей березы), затем Тамара щепала его обломком косы, который так и назывался: лучинник. Если полено загодя не заготовили (на что дед сердился), то использовали сухую сосновую чурку. Сосновая лучина горела хорошо, но слишком скоро, трещала и рассыпала искры. Важен и угол, под которым лучина вставляется в светец, — маленький наклон дает плохое, желтое пламя, а при большом лучина быстро прогорает.

— Дед, а светец где взяли, — спрашивал взрослый Антон, — неуж заказывали Переплеткину?

— Стал бы он такой мелочью заниматься. Дал кто-то, сохранил...

Электрическое освещение никто всерьез не принимал — то не работал движок (не подвезли мазут), то вредил Попов, то перегорала лампочка, а новую взять было негде. Англичанка рассказывала, что в Америке в музее компании «Дженерал электрик» она видела лампочку, сделанную самим Эдисоном в 1895 году; лампочка горела уже сорок лет. Для элемента накаливания своих ламп Эдисон перебрал шесть тысяч растений, посылая эмиссаров на Филиппины и Огненную Землю; спираль в результате сделали из обугленного волокна японского бамбука. Англичанка не знала, горела ли сорок лет именно бамбуковая лампочка, но Антону хотелось, чтоб это была она; в бессонные вечера (спать он терпеть не мог и не засыпал часами) он мечтал о такой лампочке; недавно узнал — лампочка горит до сих пор.

Центром вечерней жизни была керосиновая лампа-молния, медная, на высокой ножке, венской фабрики Дитмара и братьев Брюннер, десятилинейная. Дед объяснял: нумерация имеет в виду ширину фитиля, измеряющуюся в линиях, — одна двенадцатая дюйма. Дед слышал, что венская фирма в конце века выпускала больше тысячи моделей керосиновых ламп, но и он не мог себе представить, что можно было придумать новое даже для сто первой модели. Бабка вспоминала, что в Вильно у них в гостиной одна лампа была из севрского, а другая из мейсенского фарфора, и жалела, что не захватила их, когда бежали от немцев в ту войну. Дед говорил, что с него было достаточно и того, что с собой всюду возили козетку а ля Луи Каторз.

К долгой вечерней работе лампу готовил сам дед, не доверяя никому, — вдруг разобьют стекло, и тогда все пропало; сколько видел в Чебачинске Антон ламп без стекол, больше похожих на копилки. Подстригался фитиль (дед называл его «кнот», что Антону нравилось больше: кнот-нот-енот!). Стекло чистилось ершом, хорошо промятой газетной бумагой, протиралось мягкой фланелью, после чего становилось прозрачным, как слеза; желто-оранжевый язычок пламени был большой, с лист крыжовника — совсем не то, что тусклая электрическая лампочка под потолком, при нашей сверкающей красавице можно было читать и шить даже в углу комнаты.

Для большей светлоты на стекло надевали в виде абажура двойной тетрадный лист с дырой посредине. И по сей час, когда на даче отключают свет и приходится зажигать лампу (не идущую, конечно, ни в какое сравнение с той, оставшейся в середине века) и нанизывать на ее стекло такой абажур, Антон всегда вспоминает многократно слышанную историю, произошедшую перед войною в колхозе имени Двенадцатой годовщины Октября.

В правление пришло два письма, колхозников поздно вечером согнали в барак на общее собрание, постелили на стол кумачовую, выкроенную из лозунга скатерть с белыми буквами «ября», выбрали президиум, рабочий и почетный. Председатель Сопельняк, запинаясь, прочитал первое письмо, где сообщалось о смерти Надежды Константиновны Крупской, ленинца-большевика, жены и друга В. И. Ленина. Выступили сидевшие в президиуме бригадир Терешкин и учетчица Кувычко (оба были родственники раскулаченных и всегда выступали), сказавшие, что Крупская — жена и друг, верный ленинец. Некоторое затруднение вызвала резолюция, но с ней справились, и Терешкин, нацепив на ламповое стекло в виде абажура лист бумаги, записал в протокол: «Смерть Крупской считать удовлетворительной».

Надо было читать второе письмо, но председатель почему-то медлил, шарил руками по столу и затравленно озирался. Наконец, когда дальше тянуть уже было некуда, он встал.

— Товарищи! — сказал председатель хрипло. — Второе письмо пропало. Я положил его тут, — он ударил ладонью по столу, так что пламя в лампе желтым языком метнулось вверх, — но здесь его нету.

Все зашумели, члены президиума тоже стали оглядываться, Терешкин заглянул под стол.

— А о чем письмо-то?



— О бдительности.

Воцарилось молчание — и зал грохнул хохотом. Потом все разом замолкли.

— Так это... — вскочил Терешкин, — это же вреди...

Но Сопельняк нажал бригадиру рукой на плечо.

К нему возвращалось самообладание.

— Дверь закрыть и никого не выпускать, — распорядился он.

Искали везде, даже под скамейками задних рядов. Кувычко сказала, что к столу президиума никто вообще не подходил. Члены президиума оглядели друг друга. Снова стало тихо.

Председатель долго не мог свернуть самокрутку, пальцы его дрожали. Потом потянулся к лампе прикурить и вдруг застыл с самокруткой в зубах. На ламповом стекле в качестве абажура, с дыркой посредине, было распялено письмо о бдительности.

После этого собрания Сопельняка сняли, он спился и вскоре замерз пьяный ночью во дворе собственного дома по пути в клозет.

Даже обычные нитки попадали в дом почему-то в виде перепутанного комка, который надо было распутывать. Делал это дед, но, к сожалению, он считал, что такое занятие воспитывает терпенье и очень полезно детям. Никто из нас не выдерживал больше десяти минут; было непостижимо, как такой нудятиной можно заниматься часами. Дед не заставлял, говорил: сколько сможешь, но именно поэтому бросить сразу было неудобно. Второй этап шел веселее: мотать эти нитки на пустые катушки (у деда намотка получалась, как фабричная: ряд к ряду), которые дед не выбрасывал, видимо, никогда — на многих сохранились наклейки «Зингерь». Дед как будто знал, что будет война и исчезнут многие необходимые предметы: в кладовке у него хранились фитили, листы оконного стекла, сургуч, канифоль, точильные бруски, мешковина, полотна ножовок по металлу, болты и гайки, ненасаженные топоры и молотки, куски сапожного вара, пряжки, мусаты, напильники. Видимо, таким же знанием обладала и бабка, потому что среди ее запасов были иголки, пуговицы, наперстки, нитки, мулине и обычные (в ненавистных комках), тесьма, обрезки флизелина, корсажная лента, бахрома, клеенка, скатерти и даже неиспользованные простыни голландского полотна.

Шили все сами, но иголки надо было иметь. Переpletкин мог выковать даже лемех для плуга, хотя и ворчал, что такие сложные профиля пусть делают на Уралмаше, но пилу сделать не мог. Раму мог связать любой плотник, но в нее надо было вставлять оконное стекло.

Может, такими запасливцами и выжила огромная страна, ее гигантский тыл, где все было для фронта, все для победы, где практически исчезли магазины и годами не поступали населению кастрюли, бритвы, градусники, ножницы, зубные щетки, очки.

Вернулся с войны муж тети Ларисы, Василий Илларионович. Молча осмотрел пресс для свеклы, ручные жерновки, решето, сделанное из детской ванночки (с неделю аккуратно дырявили дно пробойником), знаменитый градусник, толченый мел с древесным углем, выполнявший функции зубного порошка, мохнатый нескладывающийся зонт из телячьей шкуры («Робинзон, живой Робинзон!»), деревянное корыто для свиней, выдолбленное из комля липы, приспособление для формовки мыла, ткацкий станок — тут ему слегка втерли очки; на станке никто не ткал: по основе он работал еще ничего, но по утку давал слишком редкую нитку, да и с сырьем было туговато.

— Впечатлительно. Образец натурального хозяйства эпохи позднего феодализма. Есть только два недостатка. Первый: отсутствует кожевенное производство.

— А кожи мокнут у нас за сараем, в чане, они очень вонючие, — вмешался Антон.

— Сдаюсь. Один недостаток. А именно: вы не умеете делать презервативы. Петр Иваныч, вы как историк — в натуральном хозяйстве XIX века не было презервативов?

Разговаривали при Антоне свободно; предполагалось, что он не понимает, о чем речь.

Отец дал справку: презервативы были известны гораздо раньше, еще при Людовике XIV, делали их из узкого отростка мочевого пузыря королевского оленя. Из одного оленя — один презерватив. Он был очень тонкий и невероятной прочности — когда мочевой резервуар оленя заполняется, он растягивается в несколько раз и выдерживает огромные нагрузки — например, длительный бег скачками. Современные технологии не могут создать чего-нибудь аналогичного по эластичности и прочности. (Антон занимало и потом — как обстоит дело с этим соревнованием теперь, в конце двадцатого века?)

— За чем же дело стало? — веселился Василий Илларионович. — В Чебачинске, конечно, нет королевских оленей, но полно быков! Завтра же иду на бойню к нашему другу Бондаренке и беру у него пару бычьих пузырей!

— На помощь пару пузырей, на помощь пару пузырей, — запел Антон.

— Бычьи не подойдут, — сказал дед. — Слишком толсты.

— А у косули? В лесах за Боровым — тьма косуль. Это же почти королевский олень. Двустволку мою Лариса сохранила, отличное ружье, с дамасковыми стволами, замки в шейку, ложе ореховое... Давно я не охотился. Завалим косулю-другую.

Но про мочевой пузырь косули дед ничего не знал, как и про этот орган у сайгаков, которые тоже водились недалеко — в степях за рудником Степняк.

«Презерватив» звучало хорошо, но, поколебавшись, для повторения перед засыпом Антон отдал предпочтенье недавно услышанному слову «псориаз». Псо-ри-аз.

# Землекопы и матросы

Первым человеком, который сказал что-то о будущем Антона Стремоухова, была приехавшая с сибирского золотого прииска тетя Лариса.

— Мальчик-то губастый какой. Даст шороху по женской линии.

За жизнь Антон так и не понял, дал он шороху или нет.

Вторым был сосед, Борис Григорьевич Гройдо, наблюдавший, как Антон роет колодец. Антону было пятнадцать лет, с восьми он рыл ямы, канавы, погреба, копал огород — все, что требовалось в нормальном натуральном хозяйстве. Но колодец — совсем другое. При рытье ямы ты сверху, у тебя свободный разворот. В колодце ты — на дне, не повернуться, землю выбрасывать высоко, неудобно, она сыплется на голову, ссыпается и тогда, когда ее начинают вытаскивать бадьями. Сосед сказал:

— Хорошо роешь. Не халтуришь. Толк из тебя выйдет. Колодезником не будешь, но халтурить не станешь и в своем деле.

Про халтуру он оказался прав, про копанье — нет. Антон копал всю жизнь: в школе — картошку и силосные ямы в колхозе имени Двенадцатой годовщины Октября, свеклу и морковь в подмосковных совхозах, куда каждый год в сентябре отправляли студентов МГУ, ямы компостные и для туалетов на дачах друзей и знакомых, траншеи на овощебазе Киевского района Москвы.

Была у него еще одна многолетняя обязанность: во дворе музея одного из самых знаменитых советских писателей, где Институт истории всегда работал на ленинских субботниках, Антон каждый год выкапывал большую яму. Завхоз ждал этого дня, звонил в канцелярию, спрашивал, придет ли Петрович из отдела русской истории XIX века; не прийти после этого было нельзя, да он и не собирался сачковать, он любил эти субботники, воскресники, любил *накартошку*, работу на овощебазе, только стеснялся в этом признаться.

Сейчас модно писать, как молодежь, интеллигенцию принуждали бесплатно работать в колхозах и на овощебазах. Меня никто не принуждал. Я воспринимал это как праздник. Разве можно сравнивать: сидеть на обязательной лекции по истории КПСС, на нудном заседании отдела — или копать, копать? Там была ложь, а это была правда. Правда лопаты, если говорить в духе твоей ментальности, как сказал бы Юрик Ганецкий.

Никогда он не испытывал такого наслажденья от чтения статьи или писанья своей, как от рытья серьезной ямы. В музее он сразу, пока все еще слонялись, курили, сидели на крылечке, брал лопату и начинал. Копать! И пока кто-то лениво сгребал мусор, кто-то жег сухие листья, он вгрызался в землю. И вскоре был в яме уже по пояс, а к обеду из нее торчала лишь голова. Подходили к краю, заглядывали. Кто-нибудь цитировал: «Я за работой земляной свою рубаху скину». Видно, великий поэт не знал как следует земляной работы. Долго так не проработаешь. Кто умеет правильно копать, тому рубаху скидывать не надо.

Яма — это искусство. Заставьте нынешнего пропагандиста народных корней и национального русского духа вырыть яму под саженец в твердом грунте (по обочинам всегда бывает такой). Он будет долбить лопатой по одному месту, потом в это же самое место начнет бестолково тыкать ломом и с удивленьем обнаружит, что за полчаса надолбил три пригоршни мелких комьев; он будет говорить, что лопата тупая, он станет бродить, смотреть, как копают другие, т. е. тоже долбят и скребут по одному месту; все вместе они выкопают к обеду два десятка похожих на общепитовские тарелки ямок с косыми стенками, в которые ничего нельзя посадить.

Яма — это наука. Тяжелей всего — первый вкоп. Потом надо сделать узкую выдолбку —

пусть мелкую — во всю ширину ямы. Не мелче, чем на две трети штыка. Любим путем, любими усилиями. Даже непрофессионально выцарапывая грунт. Но зато потом ты начинаешь землю срезать, и она отваливается легко, и твердый грунт уже не наказание, а радость, он не рассыпается, а нарезается целостными влажными каравайными ломтями, которые сидят на лопате, и ты выбрасываешь их вон сразу, а не собираешь землю по горстке. С каждой проходкой лопата идет легче, уходит глубже — вот уже на полный штык. Ты не отдыхаешь, чтоб не прерывать наслажденья. Ты не останавливаешься — в этом ритме можно работать часами: нажим — перехват — бросок — нажим.

Землекопным учителем Антона в Чебачинске был шахматист Егорычев. А его учили на Беломорканале, куда он попал вместо всесоюзного шахматного турнира по доносу своего соперника; доучивали на канале Москва-Волга.

— На Беломоре — поляны или лесная земля после раскорчевки — пух! А в Подмоскovie — тяжелые грунты. Площадя у населенных пунктов задерненные и затоптанные вместе. Дороги. Копать по науке — все равно что. Тяжело эти спрессованные грунты — возить. Кубатура та же, да вес другой. А зачет — по числу тачек. Техники никакой. Бульдозер я в первый раз уже после войны увидел. Кто каналы прошел — в землекопных делах профессор.

Позже Антон спрашивал, не знал ли он философа Лосева, который тоже был там. Егорычев не знал, но помнил стихи:

Тачку тяжко везем по гробам.  
Лучше б Лосев молчал про пиво,  
Что давали в Египте рабам.

Однажды Антон копал погреб старушке, соседке по даче, которую снимал в то лето по Казанской дороге. Погреб был очень нужен — холодильника не имелось и не предвиделось. Старушка сказала, где копать, и уехала, он начал с ранья, увлекся, копал дотемна и вырыл яму глубже своего роста. Приехавшая наутро хозяйка не поверила, спрашивала, кто помогал; сосед засвидетельствовал: «Один рыл, этот лоб. Как экскаватор». Она все ахала, заговаривала про оплату, хотя он сразу сказал ей, что сам готов приплатить за счастливое времяпрепровождение, — и теперь повторил, что ничего не возьмет. Тогда она заплакала. Ее мужем был Стэн — известный в двадцатые годы марксист. Учил марксизму Кобу, как они все его еще называли. Читал с ним Гегеля, Маркса, тогда мало переведенных, готовил лекции, которые Сталин читал в университете им. Свердлова и из которых получились потом «Вопросы ленинизма». Кто-то спросил Стэна: «Ну как Коба в качестве ученика?» — «Туповат», — ответил Стэн. Он исчез, когда еще не было принято брать семьями, может, потому вдова осталась жить. Она плакала и говорила: «Мне никто еще не рыл ям».

Первую плату за землекопные работы Антон получил в тридцать пять лет на рытье траншеи для здания Комитета стандартов на проспекте Мира. За неделю — свою двухмесячную зарплату младшего научного сотрудника. Здание построили, не озаботившись подготовить траншею для коммуникаций, а теперь экскаватор между ним и стеной другого дома уже не проходил. Сроки же, конечно, подпирали. Именно для таких случаев существовали летучие бригады, работавшие сдельно; землекопы трудились с рассвета дотемна, а если надо — и при электричестве.

Нужно было срочно перебросить кучу земли, которая осталась от котлована и к которой тоже нельзя было подобраться экскаватору. Антон сказал:

— Я перебросаю.

Петр, бригадир летучих бригад, посмотрел внимательно. Он видел всякое.

— Бросай.

Вечером Петр, как всегда, приехал на своем «Москвиче». На месте кучи была площадка. Стремоухов доскребывал ее совковой лопатой.

— Школа Беломорканала? Учил — кто-нибудь оттуда?

— Оттуда меня учили копать. Бросать учили — из другого времени.

Из другого времени был одноглазый Никита — рабочий котельной чебачинской угольной электростанции, а когда-то кочегар броненосца «Ослябя», участник Цусимского сражения. «Это тот броненосец, что перевернулся?» — спросил начитанный мальчик Антон, опираясь на сведения, почерпнутые из романа Новикова-Прибоя. Никита, за всю жизнь прочитавший, кроме инструкций котлонадзора, только один художественный текст — рассказ Толстого «Акула» и не подозревавший, что такое можно узнать из литературы, был потрясен, Антона любил и разрешил заходить к себе в котельную. Поил его молоком.

— Неуж стали давать за вредность?

— ...я с два. Нюрка приносит. Сначала мне — вершки, а снятое — в райком. Хорошо тому живется, кто с молочницей живет. Молочко он попивает и молочницу ...т.

К молоку полагались бублики, кои он приносил откуда-то из дальнего угла котельной, нанизав на черный от угля палец всегда одно и то же число: три штуки, они тут же съедались, и приходилось идти сызнова.

— Палец не ..., — с сожаленьем говорил Никита, — пять штук не наденешь.

И снова приносил три бублика.

Никита рассказывал много чего, но период их тесной дружбы пал на девятый класс — самое критиканское время в жизни Антона. Он многому не верил — например, что Никита был знаком с автором песни «Раскинулось море широко». И осмелев, прямо спрашивал, не травит ли кочегар. «Вот те хрест», — крестился тот; уже студентом Антон узнал, что автор знаменитой песни, бывший моряк, благополучно здравствует в Таллине.

Еще раньше, классе в пятом, Антон услышал от Никиты, что герои-матросы с «Варяга» вовсе все не погибли, — и в первый же год московской жизни Антона этому явилось подтверждение: в 50-летний юбилей истории с крейсером в газете поместили снимок всех еще живых к тому времени моряков — одетые в форменки с гюйсами, они обсели весь редакционный стол. По сведениям Никиты, корабельный священник на героическом судне, о. Михаил, был братом капитана. Так или нет, узнать Антону потом не удалось, но фамилия у священника действительно была та же — Руднев.

Из любви к просвещению Антон тогда же рассказал своим приятелям-пятиклассникам, что оставшихся в живых с «Варяга» вывезли на лодках.

— На лодках? — закричал самый главный милитарист Генка Меншиков. — Во-первых, на шлюпках! И никто их никуда не вывозил! Ты что, не видел кино «Гибель „Варяга“»? А в песне как?

И своим твердым маленьким кулачком, как он хорошо умел, ткнул Антона прямо в зубы. Всеобщая молчаливая поддержка была на его стороне. Плюя кровью, Антон плелся домой.

Это был не первый случай, когда его били за неверие в фантастические сведения. Первый был с орлом, когда он не поверил, что есть такие, у которых размах крыльев — от речки до улицы Набережной, то есть метров пятьдесят. Второй случай — когда Генка Созинов рассказывал, что огромные круглые валуны на Озере сначала были мелкой галькой, а потом выросли до размеров с пол-избы. Антон, опираясь на учебник «Неживая природа», утверждал, что камни не растут, а только разрушаются. Третий — Антон усомнился, что если в середине пыльного смерча в землю воткнуть нож, то брызнет кровь — чёрта.

Но эти случаи Антона не учили, жажда света истины оставалась неистребимой. Еще в

университете он чуть не подрался с Толей Филиным, оспаривая на основании фактов полководческий гений Сталина. Уже были напечатаны слова «культ личности». Но как вскинулся Толя, как стал кричать, что Сталина партия посылала на самые важные фронты — и дальше по «Краткому курсу». «И чего ты с ним об этом, — увещевал положительный Коля Сядристый, — его так учили в курском педучилище».

Когда Антон просил Никиту рассказывать про Цусиму, он всегда отнекивался.

— Да прочитай в своем кирпиче, который ты мне показывал. А вот про «Варяга» — везде туфта одна. Есть у меня один дружок — с «Варяга». В Омске живет. Приезжает иногда. Тоже кривой. Мы и дружим: пара глаз на двоих. Надо вас свести.

Но свести их Никите удалось, когда Антон был уже студентом; зато уж тут рассказ друга Никиты он записал. Забыл, правда, спросить такую мелочь, как фамилия рассказчика; теперь уж не узнать. По его рассказам, дело было так.

— «Варяг» с «Корейцем» на посту Чемульпо стояли — в распоряжении, значит, посланника нашего, Павлова... И японский крейсер тут стоял... Видим, снялся он и меж другими всякими судами путается... Ну, думаем, что-то не то... А ночью огни потушил, по-боевому, и ушел совсем. Утром посылает командир наш «Корейца» — с письмом в Порт-Артур... Отошел тот мили четыре от рейда — навстречу ему японская эскадра: шесть боевых, добровольческие и миноноски... Три мины в него пустили, однако не попали. Видит «Кореец», — не пройти, повернул. Тут уже мы стали готовиться... За ночь на палубу столько снарядов понатаскали, что не повернуться. Командир наш Руднев на крейсер «Тальбот» поехал с англичанами и французами разговаривать, а японский адмирал прислал туда бумагу, чтоб на бой выходили. К нам на «Варяг», значит, побоялся прислать. Вернулся командир на крейсер, команду на шканцы собрал: «Вот, братцы, — говорит, — война! Если бы они были порядочные люди, нас бы выпустить должны, а так... Сражаться будем до последней возможности и сдаваться не будем. Каждый делает свое дело. В случае пожара тушите без огласки, так же с пробоинами. Да что тут долго разговаривать. Осеним себя крестным знаменем и пойдем смело в бой за веру, царя и отечество. Ура, братцы!» Тут музыка заиграла, «Боже, царя храни» запели, простились мы друг с другом, каждый другого просил, чтоб домой написал, если меня, к примеру, убьют. И пошли мы с рейда. А на всех судах англичане, французы, итальянцы команды повыстраивали, «ура» нам кричат, наш гимн играют... А японцев — шесть больших и восемь миноносок. Ну, они не дали нам выйти, как по закону должно, на восемь миль, а еще в проходе в самом узком месте стрелять зачали... «Варяг» сперва не отвечал. А потом началось — нельзя рассказать! Ну, упадет рядом с тобой кто, переступишь. Да некогда думать было. Каждый свое занятие имел. Мичмана нашего бомбой — одна рука осталась, по руке и узнали, нежная была такая, и манжет твердый, белый, в буквах — он на него стихи записывал... Капитан отлучился с мостика на минуту, а туда бомба — уже шел обратно — ничего, контузило только. Героический был капитан. Меня царапнуло тогда же — с тех пор и глаза-то нету. Потому и в кочегары пошел — с флота уходить не хотел.

— А пишут — открыли кингстоны.

— Это потом открыли, когда уже мы все, кто был жив, в шлюпки сели и обратно в порт пошли. Герои, мол, — пишут. Да просто все было. Ночью накануне никто не спал. Я помогал буфетчику. Принес с ним в кают-компанию поднос с шампанским. А офицеры не платили — записывали каждому на его карточку. Буфетчик выгащил карточки. А мичман смеется: «Да завтра никто из нас жив не будет!» Буфетчик аж побледнел — то ли помирать не хотел, то ли деньги пожалел...

Держать в руках совковую лопату Никита учил Антона недолго.

— Ты видал корабельную топку? Броненосца, в тридцать тысяч тонн водоизмещением? Не видал. Вот здесь топка, — Никита неуловимым движением открыл дверцу («Дверь топки

привычным толчком отворил») — длинная, потому что котел цилиндрический протяженный. Так вот. Пароходная — куда длиннее. А уголь надо забрасывать равномерно по всей пламенной поверхности, и к задней стенке тоже. Помахай лопатой смену, в трюме, да в Красном море, когда и поверху, на палубе босиком не пройдешь — как по сковородке, вроде как в аду. Не умеючи часа не прстоишь, кишочку поднадорвешь.

Наука Никиты была, как потом понял Антон, в чередовании напряжения и расслабления. Конечно, лопата должна быть не до пояса, как все эти дурацкие заступы, а с черенком нормального размера, до подбородка, чтоб был размах. Посылаешь тяжелую лопату вперед, и когда куски угля соскользнули с нее, — плечевой пояс и руки расслабляются, лишь придерживая лопату, чтоб не улетела в топку («У салаг такое бывало: отпустит — и с концом, тысяча градусов, только дымок от черенка»). И этой секунды мышцам хватает, чтобы снять напряжение, отдохнуть. Как в брассе: толчок, усилие — скольжение — расслабление. Опытному пловцу легче в воде, чем на суше, он может плыть много часов. Никита говорил, что выстаивал и по две смены. Антон зачарованно глядел, как он, открыв бьющую в лицо жаром топку («и пламя его озарило»), безо всякого усилия швырял в ее огненно-белую глубину сверкающие глянцевые куски антрацита («Хороший уголек дает Караганда, мать ее так!..»). И сам сверкал своим тоже черным единственным глазом, матрос русского флота кочегар Никита, сорок пять лет простоявший у топки.

# Вдовый угол

По утрам дед по-прежнему, несмотря на свое полулежачее состояние, брился сам, доверяя Антону только взбивать пену в широкодонном медном стаканчике, именуемом «тазик», и — уже со вздохом — править «Золлинген» на ремне. Подравнивал усы, виски, тщательно выбривал щеки (подперши их изнутри языком, так что в рассуждении гладкости они делались совершеннейший атлас).

Раньше, когда Антон приезжал на каникулы, дед любил за завтраком расспрашивать его, как там в столицах. Антон старался рассказать что-нибудь любопытное, например, про встречу студентов МГУ с Николасом Гильеном, и даже цитировал его стихи, которые на вечере с пафосом читал переводчик прогрессивного поэта: «Он теперь мертвый — американский моряк, тот, что в таверне показал мне кулак». Реакция деда, как всегда, была решительной:

— Наши были бандиты, и эти, кубинские — тоже бандиты.

Вспоминали; их общие с дедом воспоминанья теперь тоже отстояли — не верилось — на тридцать, тридцать пять лет.

— А помнишь, дед, как вы меня с отцом экзаменовали?

— Да-да, когда Петр Иванович выпьет. Ну, это было нечасто — где было взять? Сдавали картошку — за мешок полагалась бутылка, мама твоя иногда принесет чуток спирту из лаборатории. Но она боялась... Сядем с ним, я выпью свою рюмку, Петр Иванович — остальное. Позовем тебя — ты был очень забавный. Развлечений же никаких.

Называлось: экзамен по философии.

— Леонид Львович, сначала — вы, начнем, по хронологии, с богословия.

Дед охотно вступал в игру. Очень серьезным тоном он спрашивал:

— Какие суть три царства в тварном мире?

— Три царства суть, — отбарабанивал Антон, — царство неживое — видимое и ископаемое, царство прозябаемое — растительное и царство животное.

— Относится ли человек к царству животному?

— Не относится, ибо он есть особенное Божественное творение.

— Ну-ну, — говорил отец. — Посмотрим, осталось ли что-нибудь в твоей головке от марксистской философии. Почему учение Маркса всеильно? Не помнишь? Потому что, — он подымал вверх палец, — потому что оно верно.

— Что есть истина? — задумчиво говорил дед.

— Идем дальше. Из чего состоит окружающий, или, как сказал бы твой дедушка, видимый мир?

— Весь окружающий нас мир состоит из материи, — отвечал Антон. Помнил он это, как и все, что ему говорили, хорошо, но всегда удивлялся, что и печь, и стены, и дорога одинаково состоят из мягкой материи, вроде той, из которой мама по вечерам строчила на машинке трусы и бюстгальтеры.

— А что мы имеем в безвоздушном межпланетном пространстве?

Это было еще непонятнее, но что надо отвечать, Антон также знал твердо и произносил с удовольствием:

— Тоже материю, она вечечна и бесконечечна.

— А что есть жизнь? — спрашивал отец. — Вы, Леонид Львович, вряд ли ответите на такой вопрос.

— Пожалуй, — говорил дед, подумав. — Я могу сказать только об ее источнике — богоданности.



— А мы знаем! — с торжеством говорил отец, успев за время экзамена выпить еще рюмку-другую. — Жарь, Антон!

— Жизнь есть существование белковых тел, — натренированно выпаливал Антон; это было понятней всего: белок был в яйце, а из яйца вылупливался живой мягонький цыпленок. — Сказал Фридрих Пугачев.

Отец от удивленья поставил рюмку, но потом, поняв, начал хохотать: за улицей Маркса в Чебачинске шла не улица Энгельса, как полагалось, а почему-то улица Пугачева, Энгельса была следующая.

— Я знаю то, что ничего не знаю, — вдруг говорил дед. Это было не совсем ясно, но все же понятней, чем то, что быстроногий Ахилл никогда не догонит черепаху.

Покормив деда, повспоминав и поговорив с ним о конце золотого века в четырнадцатом году, Антон шел в город.

Сегодня он решил сначала навестить свои тополя, которые они сажали в третьем классе на первом своем воскреснике. За тридцать лет деревья вольно разрослись, никто не спиливал, как в Москве, верхние их половины. Антон нашел свой тополь; у него сохранилась фотография: мальчик в большой кепке держит за верхушку прутик. Как в «Пионерской правде»: «Впереди Никитин Ваня, он стоит на первом плане и с сияющим лицом снялся рядом с деревцом». Теперь этот прутик был выше телеграфных столбов. И, кажется, выше своих соседей — Антону хотелось, чтоб выше. «Я с улицы, где тополь удивлен...»

Все пионерские мероприятия в школе носили хозяйственный характер: посадки, перелопачиванье зерна на элеваторе, копка картошки в колхозе. Пионерских сборов, которые, судя по «Пионерской правде», во всех школах страны проходили беспрерывно, в чебачинской устраивать не удавалось: после уроков одного ждал огород, другого — хлев, третьего, опоздай он, не сажали за стол. Сборы, слеты — все это происходило где-то далеко, там, где пионеры ходили на торжественные линейки в Колонный зал и встречались с внуком Маркса Эдгаром Лонге. С удивленьем мы разглядывали снимки в той же газете, из которых явствовало, что московские школьники всегда были при своих красных галстуках — и на уроках, и на экскурсиях, и когда мастерили авиамодели (все столичные школьники мастерили авиамодели). В газете серьезно обсуждался вопрос, допустимо ли галстук носить с цветной рубашкой; после печатания материалов обсуждений и писем пионеров тридцатых годов общее мнение склонялось к тому, что предпочтительнее все же с белой, которую нужно менять через день — над этим помирал со смеху сын Усти Шурка, у коего была только одна неопределенного экономического цвета рубашка, которую мать стирала по утрам в воскресенье и вешала над плитой; Шурка сидел и ждал, когда она высохнет.

В нашей школе всякий, надевший галстук, должен был быть всегда готов за него *ответить*. Увидев галстучника, кто-нибудь (чаще всего Борька Корма) хватал его за галстук под самое горло так, что перехватывало дыхание, и говорил грозно: «Ответь за галстук!». И галстучник сипло выдавливал: «Не трожь рабоче-крестьянскую кровь — она и так пролита в октябрьские дни».

Все главное происходило на Улице. Улицу Антон любил, но она была к нему сурова: дразнила профессором кислых щей, била — за отказ признать, что удавы бывают в сто метров длиной или что камни растут. «Да скажи этим негодьям, — говорила бабка, примачивая ему очередные фонари под глазами, которые с невероятной точностью умел ставить Генка Меншиков, — что растут их мерзкие камни, растут!» Но в научных вопросах Антон на компромиссы не шел, а уж с такой чепухой не мог согласиться даже под угрозой раскровянения носа.

Приятели постигали законы Улицы с беспшанного младенчества, Антона долго не пускали

играть с этой бандой, появился он на Улице как чужак, и хотя очень старался показаться своим, это таки не удалось. В выпускное лето Петька Змейко как-то сказал Антону:

— Ты б не матерился при своих уличных.

— Ты находишь, что это оскорбляет их нежные уши? Какого пса! Да они сами...

— Вот именно. А у тебя это выходит ненатурально и натужно.

Улица была не столь проста, как казалась; природу одного ее феномена я так и не смог постичь никогда.

Гоняем мяч. Появляется опоздавший Кемпель. Игра останавливается. Обе команды замирают как бы в безмерном восхищеньи — и тишина взрывается восторженным «ура», высоко вверх летят шапки. Когда клики затихают, Илья Муромец мощно провозглашает: «Где Кемпель — там победа!» Рев возобновляется с новой силой, Васька пронзительно-сверляще свистит, Корма кричит по-тарзаньи. Кемпель с достоинством подходит и пожимает всем руки. Начинается спор, в какой команде будет играть Кемпель, спорят долго и ожесточенно, наконец бросают жребий. Команда, которой выпала решка, снова вопит — уже одна.

Кемпель играл средне. Может показаться, что все действие являлось особо утонченным издевательством. Но это было не так. Вопя, мы испытывали искренний, беспримесный восторг — может, потому особо сильный, что ощущали полную его бескорыстность.

Игра начиналась, и о Кемпеле помнили не больше, чем о любом другом среднем игроке — до начала следующей игры, на которую Кемпель опять опаздывал — и все повторялось. Любопытно, что когда в футбол играли в школьном дворе, Кемпель интереса ни у кого не вызывал. Всеобщий восторг был феноменом массового сознания Улицы и принадлежал исключительно ей.

Рядом с тополями было место не менее памятное — парикмахерская. Всем учащимся мужского пола с первого по восьмой класс полагалось стричься в ней наголо. Тупая машинка драла невероятно, вырывая целые пряди; грязная простыня была закапана слезьми. Кресел было всего три, но за третьим стоял Соломон Борисыч, работавший только модельные стрижки.

Соломон Борисыч сорок лет проработал в Москве на Кузнецком Мосту в известном салоне, где начинал еще в мальчиках у Базиля. В Чебачинск он попал за язык.

— А что я такого сказал? Я такого ничего не сказал. Я только сказал... — он замолкал. — Базиль нас учил: клиента не только кругом обстриги, но и кругом обговори. Я не мог этого знать, что тот из салона сразу повернет в переулок, а потом — в те ворота — я не мог такого знать!

Было удивительно, что Соломон Борисыч наговорил только на пять лет и пять по рогам. Молчать он не умел — так прочно засели в его голове уроки парижского парикмахера.

— Можно и под полечку, и под Клеопатру! Но лучше сделаем вам коровий язык — у вас волос с висков, для зачеса, хороший. Теперь наденьте ваши очки — под воло'с. Видите, какая работа? Освежить — непременно! Айн момент — только сниму пудромантель (Антон уже знал, что так называется серая пятнистая простыня, которую мастер туго, невпродых обвязывал вокруг шеи). Одеколон мускус амбре! Красная Москва. Тэжэ. Сама Жемчужина душится! Сомневаетесь? И напрасно. Я самого Михаила Ивановича обслуживал! И Андрея Андреевича. И Николая Ивановича...

На скользком разгоне Соломон Борисыч с трудом замолкал. Но ненадолго.

Если в гостях у родителей сидел Гройдо, то, взглянув на измученное лицо Антона, он спрашивал светски:

— Как стрижка? Сильно драло? Что Соломон? Про Жемчужину говорил?

Кто такая Жемчужина, Антон знал давно и помнил, как Гройдо сказал: «Фамилия похожа на опереточный псевдоним. Я бы не удивился, если бы она таковым и оказалась. У ее супруга

партийная кличка тоже не блещет вкусом — впрочем, как и у всех остальных».

— Он еще говорил, — спешил не растерять запомненное Антон, — что стриг самого Михаил Иваныча.

— Всесоюзного старосту то есть.

— И еще Николай Иваныча.

— Ему не хватило Чебачинска, — повернулся Борис Григорыч к отцу.

— Мало ль Николай Иванычей, — сказал отец. — Распространенное русское имя-отчество.

— Его счастье, что разговаривает он уже не на Кузнецком Мосту. Там-то все помнят, кому принадлежало это распространенное имя-отчество.

У магазина на лавке, закончив ночное дежурство, курил ночной сторож Казбек Мустафьевич Ерекин. В школьные годы Антона он преподавал казахский язык. Как вихрь, влетал он в класс и на бегу ткнув журналом в кого попадая, выкрикивал: «Счет!» Подвернувшемуся надо было, вскочив, как можно быстрее оттарабанить: «Бір, екі, уш, торт, бес...» Оценок было две: бес (пять) и кол (Антон с Мятком не раз обсуждали, почему эту оценку он называет по-русски — казалось, что уж в тюркском языке должно быть такое слово). Поставив первую оценку, Казбек Мустафьевич несколько успокаивался и говорил уже тише: «Тегыст». Начиналось чтение и перевод текстов из учебника. Про завод или депо они были понятны: все слова, за вычетом служебных, оказывались русскими. Но попадались тексты и более общего содержания: «Из райкома ВКПб вышел аксакал. Он нес чемодан. Он шел в райком ВЛКСМ. Из райкома ВЛКСМ вышел человек. Это был комсомолец. Он нес только портфель. Человек комсомолец сказал: „Чемодан тяжелый. Я молодой. Я сильный. Дайте, я понесу“».

Ноги уже несли его по базарной площади, пустынной и грязной.

Базар собирался по воскресеньям, и в каждое Антон сопровождал туда бабушку, считалось — для помощи, хотя она давала нести ему сущую мелочь: щавель, ягоды, десяток-другой рыбешек. В хорошие годы привоз был приличный: из ближних сел подвозили и продавали с возов капусту, замороженное огромными кругами молоко, согнутых подковой мерзлых окуней (почему они любили замерзать именно в такой позе, не мог объяснить даже дед), живых гусей и уток, овечью шерсть, плетенные из ивяных прутьев вентеря и корзины (во вьючные верблюжьи мог поместиться человек); местные выносили своего изделия деревянные ложки и ковши — плашковые и из торца, табуретки, костыли (товар, пользовавшийся спросом), деревянные лопаты, ухваты, глиняные рукомойки, кувшины, макитры, свистульки; стеклозавод с полуторки продавал графины, стаканы, возле машины всегда толпились и шумели: из кособоких ручного дутья стеклянных изделий что-нибудь подходящее выбрать было непросто.

Пока бабушка надолго застревала в мясном амбаре, Антону разрешалось сходить за семечками. Их он покупал у Хромого, семечки у него были крупные, хорошо жаренные, не смешанные с сырыми, и стакан был обычный, а не с толстым дном, как у теток (Василий Илларионович смеялся, что такие на стеклозаводе им делают по спецзаказу). В другие дни Хромой торговал у аптеки или клуба; Антон придумал и сам верил, что у него на огороде растет не картошка, а одни подсолнухи. «Спекулянт твой Хромой, — сказала тетя Лариса. — Обыкновенный спекулянт. Купит в колхозе у кладовщика пять мешков и продает всю зиму».

К семечкам я двигался через барахолку. Сначала шла одежда: дубленые и сырые полушубки, волчьи малахаи с глубокой треугольной зашеиной, заправлявшейся под воротник и гревшей верх спины до накрывьев, со споротыми погонями шинели, очень ценившиеся за знаменитое русское бесшносное шинельное сукно (Кувычко носил шинель еще с той германской), ватники, валенки — чесаные и катанки. Кроме валенок, новых вещей не предлагалось — даже трофейное егерское белье и немецкие же дамские комбинации были ношенные, детские же вещи — с откровенными заплатами. Ближе к забору стояли женщины с мужскими довоенными костюмами, рубашками,

туфлями, называлось: вдовый угол. «Один, что ли, сапог продаешь?» — «В чем вернулся. Может, кому такому же снадобится». И снадобился. Вася-инвалид, ездивший по базару на тележке с крохотными колесиками, прикатился с ковылявшим на костылях обвешанным медалями мужиком. Но мужику не повезло: сапог оказался не на ту ногу. А был сапог хорош: офицерский, малоношенный, австрийского хромю. «Тебе б под снаряд-то другую догадаться подставить, — веселился Вася. И, глядя снизу на тетку, обнадежил: — Приведу еще кого». Но, видно, не привел: сапог стоял все лето.

В следующем ряду можно было увидеть супницу без крышки, блюдо, на которое когда-то, видимо, укладывали целого осетра, таз с облупившейся эмалью, барометр, фарфоровые счеты, ходики с кукушкой, офицерский планшет, нелуженую медную миску. И здесь был свой сапог — он придавался к ведерному самовару, для раздувания углей. Он гляделся еще лучше того, с вдовьего угла — тоже офицерский, щегольской, поражавший всех невиданной шелковистостью кожи, глубиной матовой черноты голенища и сияньем головки; все уже знали, что он на другую ногу и подходит другу Васи-инвалида, но хозяйка продавала обе вещи только в комплекте, видимо надеясь, что отсветы блеска нового сапога скроют помятость боков старого самовара. Интеллигентные дамы с неприступными лицами продавали серебряные ложки, черепаховые гребни, броши, бусы. Здесь толпились молодые казашки в монетах с пробитыми дырочками, нашитых во множестве на бархатные кацавейки. Был и отдел искусства — коврики с лебедьми, замками и грудастыми красавицами, белые слоники, рамки для фотографий и уже окантованные черно-белые репродукции из довоенного «Огонька».

Антону больше всего нравились две вещи — их продавала красивая седая дама: муха-коробочка, у которой подымались крышечки-крылышки, и блестящий, медный, ростом с месячного щенка носорог (к этому зверю у Антона слабость сохранилась надолго — в факультетской газете «Историк-марксист» свои заметки он подписывал «А. Носорогов»). Обе замечательные вещи дама никак не могла продать, Антон успел к ним привыкнуть. Муху потом все-таки кто-то купил, а носорог все стоял, и однажды Антон напустился. «Мадам, — произнес он тоном виленского вице-губернатора из рассказов бабки, — можно мне, — тут голос его прервался, — поддержать... немножко вашего прекрасного носорога?» — «Боже, — сказала дама, — откуда ты здесь такой взялся? Елена Иннокентьевна, вы слышали, что говорит этот кавалер? Подержи, милый, конечно, подержи! Двумя, двумя руками — он тяжелый». После этого Антон каждый раз, отпросившись у бабки купить семечек, бежал к носорогу, трогал его за острый рог, гладил по спине и под пупырчатым брюхом; дама смотрела грустно. «Милое дитя, — сказала она однажды. — Я бы с удовольствием подарила тебе это животное, но — увы, не могу». В одно из воскресений носорога и дамы на месте не оказалось. «А где та тетя?» — спросил Антон у Елены Иннокентьевны, с которой тоже был как бы уже знаком. — «Нету тети. Умерла». И повернувшись к соседке, сказала: «Так и не продала это страшилище... Что же ты стоишь, мальчик? Иди». Антон так расстроился, что когда покупал у какой-то торговки семечки, то забыл взять рубль сдачи, вернулся, но та стала ругаться и рубль не отдала; Антон шел и плакал, и бабка дома рассказывала, какой экономный мальчик — из-за рубля рыдал всю дорогу.

Казахи привозили на базар баранов — ободранные их туши, обросшие белоснежным жиром, с растопыренными ногами, как большие птицы, парили, подвешенные на крюках, под крышей мясного амбара. Султан, огромный казах, невероятной величины топором, как у кровавой собаки Тито из «Крокодила», рубил мясо сколько кому надо: два, три, пять кило — можно было не взвешивать. Продавец, старик-казак, подслеповато вглядываясь в безмен, сказал:

— Султан рубил килограмм один болше.

— Целый килограмм? — рубщик оскалил зубы. — Султан не мог так рубить! Сто грамм — можно. Килограмм — нэт. Смотри, аксакал, на безмен лучше!

Вмещивался покупатель, смотрел, отрубленная баранья нога оказывалась грамм в грамм.

— Вых! Глаз — ватерпас! — восхищался отец, любивший высокий профессионализм.

Казахи только продавали, среди покупателей их было не видать.

Чеченцы, напротив, группами бродили по базару, правда, ничего не покупали. Считалось: высматривают.

Про них говорили: живут в своем Копай-городе, за Речкой, дружно, одна семья помогает другой, заработанное и уворованное делится на всех. Работают у чеченцев только жены — ходят за валежником в дальний лес, ну и все по хозяйству, вяжут на продажу носки, шьют рукавицы. Мужчины ничего не делают, только сидят на крышах землянок (устроили специальные приступочки) и бродят от одной к другой в тонких сапожках, а овчинные высокие шапки носят даже летом. Один чеченец развелся (у них это без волокиты: сказал что-то жене, она собрала свои манатки и ушла к матери) — так дети остались у него. У некоторых по две жены. Старших почитают — не в пример нашим молодым охломонам. Спорить со старейшинами нельзя — как они решат, так и будет. Сыновья в присутствии отца не разговаривают со своими женами и детьми, считается неприлично. Девушки и парни не гуляют, не провожаются, а встречаются где-нибудь случайно. Какой-то молодой чеченец или ингуш знал, что девушка пойдет к Каменухе за хворостом, и засел в лесу с утра. А она появилась к вечеру, мороз был под тридцать, бурка ихняя — не тулуп, он весь заоченел, заболел и умер. Она и на похороны не пришла — по обычаю, у них хоронят только мужчины. Гостю отдают самое последнее из еды, но хозяйка к нему, как и у казахов, не выходит. Водку не пьют совсем.

Много на базаре было и чеченских мальчишек. Они юрко сновали в толпе — по одному-двое, но когда затевалась драка с местными, что случалось часто, — откуда ни возьмись с визгом налетала целая орава; дрались отчаянно, с разбегу били бритой башкой в живот, кусались, царапались. В конце концов местных сбегалось больше, но на чеченят это никак не действовало — стояли до последнего, не плакали, на кровь внимания не обращали и поле боя первыми не покидали никогда, пока драчунов, матерясь по-русски, не растаскивал батыр Султан, раскидывая тех и других за шиворот, — одного, самого упорного, зашвырнул на крышу амбара. Взрослые чеченцы в драку не вмещивались, стояли молча в своих серых каракулевых папахах, по лицам было не угадать, есть ли среди дерущихся их дети.

После бериевского указа появились амнистированные, ходили по базару по двое, никого не трогали, их опасались, считалось: тоже высматривают. Василий Илларионович возмущался: «Что за провинциальный идиотизм? Все у вас высматривают. Кого, что? Сколько яиц у твоей бабки в корзине?».

Имелся на рынке и грузчик — один. Но стоил он четверых. Ван Ваныч был невысок, но так широкоплеч, что выглядел квадратным; играючи сбрасывал он с телеги мешки с картошкой, пятипудовые тугие канары с шерстью, носил в рогоже в мясной амбар по четыре-пять бараньих туш да еще норовил пробиться сквозь толпу рысцой и кричал: «Пади, пади!».

Иван Иваныч Заузолков был известным в свое время партерным акробатом. В партерной акробатике у него была самая ответственная и тяжелая специализация — он был *нижний*, то есть на нем надстраивалась вся пирамида гимнастов. На гастролях в Мурманске он вышел поздно вечером прогуляться в порт: заграничный плащ, кашне в клетку, шляпа, желтые туфли. В какой-то кривой улочке его остановили три здоровенных бича: «Снимай все». — «И туфли?» — «Колесики тоже». — «Что ж я босиком пойду? Глянь, у меня размер маленький, тебе не подойдут». Бич наклонился посмотреть. Гимнаст врезал ему ногой в челюсть. Как потом установила экспертиза, смерть наступила мгновенно — отделилась затылочная кость. Сила в ногах у нижнего страшная — на арене он держит на себе до пяти нехлипких мужчин. Да и в руках не меньшая — их же нужно держать еще и в партере, то есть стоя на четвереньках.

Второму он вмазал наотмашь кулаком, но тот успел отшатнуться, и у него оказались только переломанными ключица и верхние ребра. Третий бежал. Пострадавших Заузолков притащил на себе в портовую милицию. На суде ему хотели дать пять лет — за превышение предела необходимой обороны (зная свою силу, надо было бандитов бить послабже), но Заузолков сказал: «Это не советский суд». Заседание перенесли и судили его уже по политической статье, дали десятку. В Чебачинск он приехал, прослышав о климате, жаловался на здоровье, но сила еще была.

Последним в автобус садился полноватый слепец в черном костюме, ему помогал водитель. Антон помнил этого слепца еще худым юношей, он сидел у базарных ворот перед кепкой с пятаками и пел песни военной тематики, которых Антон больше никогда и нигде не слышал: «Рвутся мины с грохотом и свистом, у реки идет жестокий бой», и про то, как в смерш привели танкиста, покинувшего горящую машину, стали допрашивать, а он им сказал: «И я вам говорю: в следующий раз я обязательно сгорю». Особенный успех имела песня про Таню, которая «распрекрасная была, всех парней она с ума свела». Но однажды в ее деревне затрещали, как сороки: «Яйки, курки и молоки, дай нам, матка, что-нибудь пожрать». На Таню положил глаз рыжий фриц, который «все чаще к ней ходил, Тане он конфеты приносил, и была Танюша рада за конфеты-шоколада и за то, что фриц ее любил». Но тут «русский витязь объявился и на фрица обрушился». Один из витязей появился в доме Тани и, увидев, что «наша Таня, как конфета, ноги в туфельки одеты и блестит помада на губах», достал пистолет, и — «наша Таня первернула, об пол ж... на...лась и румянец с щек ее сошел».

В следующем переулке жил Генка Меншиков — о нем все помнили только одно: он очень следил, чтобы его фамилию не написали где-нибудь с мягким знаком. Встречи с Генкой было не миновать — он всегда лежал во дворе под своей машиной, но почему-то при этом видел, кто проходил мимо.

Разговор получился скучный, как две капли воды похожий на тот, что был здесь же четыре года назад и позавчера с другим одноклассником — Вовкой Герасимовым, который снова доказывал, сколь полезна для всех служба в армии и что он, Вовка, сильно там поумнел; Антон этого не заметил. Как мы все похожи, огорчился он. Почему мы цитируем одни и те же строчки из Маяковского и Николая Островского? Неужели дело в системе образования, в том, что в огромной стране все учат одно и то же и читают одно и то же? Но мы были похожи уже до того, как нас выучили. Почему пушкинский Лицей стал питомником таких разных растений, столь пышно расцветших? Не потому, что это учреждение было таким уж из ряда вон по системе образования и воспитания. Но потому, что *те* одиннадцатилетние еще до поступления, уже в семье были индивидуальностями, им было чем, перекрестно опыляясь, умственно обогащать один другого. А сейчас создай любой лицей — и детки только усугубят тупость друг друга.

Антон входил в ворота своей школы. В этот самый день почти тридцать лет назад все ее ученики, с первого по десятый класс, были построены во дворе на линейку. Линейки наш директор, Петр Андреич Немоляк, очень любил и по всякому поводу их собирал. Военрук капитан Корендясов долго равнял строй, заставляя смотреть на грудь четвертого человека. Мне это было просто, потому что моим четвертым был Валька Сидоров, у которого уже тогда грудь была колесом; к концу школы она приобрела такую обширность, выпуклость и мощь, что наш физрук Гроссман говорил: если б у меня было столько силы, сколько у Сидорова.

Петр Андреич вышел перед строем и долго молчал. Потом сказал, что должен сообщить нам о смерти — он выдержал скорбную паузу, возвысил голос — выдающегося деятеля партии большевиков и советского государства Андрея Александровича Жданова, *злодейски*. Тут директор замолчал. Жданова я знал: в его книжечке приводились очень нравившиеся мне стихи поэта-пошляка Хазина — как бы пародия на «Евгения Онегина»: «Судьба Евгения хранила —

ему лишь ногу отдало и только раз, пихнув в живот, ему сказали: „Идиот“». Он хотел вызвать обидчика на дуэль, но «кто-то спер уже давно его перчатки; за неимением таковых смолчал Онегин и притих». Мы тоже затихли. Директор еще раз сказал: «злодейски» и сжал кулак. Приглядевшись, мы успокоились: Петр Андреич находился в некоем знакомом нам состоянии. Теперь мы ждали, когда он расскажет про Пашку Тарантикова. В войну директор был штурманом дальней бомбардировочной авиации. Летали с внутренних аэродромов на особо удаленные объекты, и даже однажды бомбили Берлин — немцы меж тем стояли у Сталинграда. Полеты были ночные, туда шли на одной высоте, обратно — на другой. Пашка Тарантиков был хороший пилот, но недисциплинированный: плохо слушал, когда объявлялось задание, в строю болтал и толкался, вот как вы сейчас, Падалко и Ермаков. Что в результате? Он забыл, на какой высоте возвращаться, и врезался во встречную волну своих же бомбардировщиков. Погубил боевые машины, товарищей и погиб сам. Поводов говорить про Пашку Тарантикова было два: когда Петр Андреич выпьет и когда плохая дисциплина; то и другое было перманентно, и историю эту мы слышали часто. Мама рассказывала, что однажды на педсовете в этом же состоянии он говорил речь:

— Учитель в нашем советском государстве находится на такой высоте, на какой он у нас никогда не стоял, не стоит...

По законам риторики с необходимостью следовал третий член; Петр Андреич смутно чувствовал, что говорит не совсем то, что надо, но в таком состоянии сопротивляться не мог и закончил:

— ... и стоять не будет.

Законы риторики еще не раз подводили его. Перед самыми выпускными экзаменами умер учитель географии Василий Иванович Предплужников — охотник, рыболов, веселый выпивоха. На весенней охоте основательно, по обыкновению, с другом выпил; вечером, на обратном пути, в газике, который вел его сын, учителю стало плохо, его начало сильно рвать, сын отчаянно гнал, но в больницу не успел — отец задохнулся. Ехавший с ними собутыльник протрезвел только наутро.

На гражданской панихиде Петр Андреич, по такому случаю принявший уже с утра, произнес речь: покойный брал Берлин, был прекрасный педагог, надежный товарищ, с ним было хорошо работать, хорошо разговаривать, хорошо сидеть за столом.

— И жил красиво, — возвысил голос директор, — и ...

Все замерли. Мне казалось, я слышу, как у всех в голове стучит одна и та же мысль. По всем правилам надо было завершить: «И умер красиво», чего про человека, захлебнувшегося в собственной блевотине, сказать было уж нельзя никак. Петр Андреич замолчал, затравленно огляделся и, пробормотав: «И мня-мня-мня», махнул рукой и отошел от гроба.

На одной из линеек в годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков директор спел нам песню «Ой Днипро, Днипро, ты широк могуч и волна твоя, как слеза». Мы и не знали, что у Петра Андреича такой хороший голос. Он любил свой предмет — историю — и любил нас, и за это мы любили его. Никто и никогда над директором не смеялся.

Вот мы стоим в строю: Валька Сидоров, его через десять лет завалит в забое карагандинской шахты со всей второй сменой; Эдик Гассельбах, он окончит местный техникум, будет работать на Каменном карьере, потом станет инструктором райкома, потом третьим секретарем, но так и не станет вторым — как немец; Федька Лукашевич — его через пять лет пырнет кортиком, допырнув до позвоночника, любитель всего морского стоящий рядом Борька Корма, и Федька умрет от потери крови в кустах возле танцплощадки, а Борька получит срок и вернется только через десять лет, снова кого-то пырнет и исчезнет в недрах лагерей уже насовсем (Борька был щеголь, часто гляделся в карманное зеркальце и говорил: «Что-то зарос я,

как Сталин» — только эта фраза и останется от него); Генка Гежинанов, долго работавший агрономом в Красноярском крае, от которого я слышал самую уничтожающую критику советской системы сельского хозяйства и которого уже теперь увидел по телевидению с портретом Сталина в руках; Вовка Рыбинцев, застреленный во время службы в армии при невыясненных обстоятельствах, Рита Зюзина, груди которой были видны, наверное, и левофланговому и про которую потом никто не говорил ничего, кроме «Ну, Риточка наша...»; Васька Гагин, ставший известным во всей Акмолинской области лектором общества «Знание»; Юрка Гайворовский, отоларинголог, талант, надежда карагандинского мединститута, дошедший до того, что пил розовый от крови спирт, которым промывали инструменты во время вырезания гланд, и умерший в лечебнице для алкоголиков; Петька Змейко, строитель электростанций, вступивший в партию по пьянке и легкомыслию и всю жизнь объяснявший мне, как это получилось.



Гурка только мельком взглянул на Антона; момент был ответственный: он медленно-медленно стягивал веревкой концы толстой, уже безкорой палки-заготовки, только что вытащенной из огромного кипящего чана. («А дуги гнут с терпеньем и не вдруг», — подумал Антон.) От белой выструганной заготовки шел пар, видимо, она была очень горячая, потому что, взогнув ее и завязав узел, Гурка долго дул на свои красные руки.

— Как живешь, Гурий?

— Как все.

— А все как?

— Кто так, кто эдак.

— А кто эдак?

— Да тот, кто не так.

— А тот, кто так?

— Ну, уж он не эдак. Он всегда уж так, ох как так!

Антон замолчал.

Гурий умел все. Его ивяные вентеры, напоминавшие изяществом конструкции башню Шухова, служили годами, на санках его работы каталось три поколения детей всей Набережной. С соседей и знакомых Гурка денег не брал, за что жена Поля, дочь купца Сапогова, его ругала. Но Гурка считал — неудобно.

Еще в школе Антон пробовал научиться у него плести лапти; Гурка терпеливо разъяснял разницу между русским глубоким и удобным круглым лаптем и мордовским, мелким, об осьми углах. Показал, как драть лыки.

— Лыки драл, куда клал? — сказал Антон.

— Чего? — не понял не знавший напечатанного фольклора Гурка. Учил Антона, как действовать главным орудием лаптежного производства, называвшемся *кочедык*.

— Как? — холодея от восторга, переспросил Антон.

— Кочедык, — повторил Гурка и стал показывать, как низать и накосую затягивать петли. — Правильно затянешь — лапоть будет что твоя галоша. Знаешь, как мою работу отец проверял? Нальет воды в пятку, ежели пропускает — сапожной колодкой по башке, за то, что материал спортил. Берешь эту шуковину...

— Какую?

— Кочедык. Заперво заводишь его внутрь...

— Кого?

— Да кочедык, мать твою, — потерял терпенье Гурка.

Не мог же Антон объяснить ему, что больше всех лаптей вместе взятых, настоящих и будущих, ему нравилось само слово и то, как Гурка его произносит, выдвигая на последнем слоге вперед челюсть, при чем обтягивался кожей и заострялся его кадык — тоже хорошее слово, но попросить произнести его совсем уж не было никакого повода. Обучение лаптежному мастерству на этом закончилось.

Всему Чебачинску Гурий был известен как тот, про кого знают в ООН. Работал он на водокачке железнодорожной станции. Дал по мордасам наезжему инспектору-начальнику, тому самому, которому когда-то по этому же месту съездил бедолага Татаев. Никита-кочегар как-то по пьянке намекал, что он, Никита, тоже приложил к этой ряшке руку, но свидетелей не было, и дело продолжения не имело. «Заинтриговали вы меня вконец, — говорил Гройдо, — что за рожа у него такая, притягивает, нет сил удержаться?»

Гурку уволили. На водокачке он всю жизнь работал на насосах, больше насосов нигде в округе не было. Гройдо говорил, что Гурку уволили незаконно, что за мордобой проезжий ревизор должен был подать на Гурку в суд, а к службе это отношения не имеет.

Никита посоветовал Гурке писать в ООН, недавно организованную. Разговор происходил в котельной. Сначала Никита прошелся насчет начальничка в закон его мать, чтобы его могила х. ми поросла, чтоб его бабушка ежа против шерсти родила, в прабабушку, Богородицу и Бога душу мать, священный синод и матушку Екатерину... Антон подумал, что кочегар начал Загиб Петра Великого, где все упомянутые были уравнены в едином потоке, и что сейчас пойдут святые, всехвальные апостолы и благовенчаннные цари, — но Никита, пожелав напоследок, чтобы Гуркину начальнику шакалы яйца отгрызли, остановился и перешел к делу.

— Прямо в ООН, — горячился он, и его единственный глаз сверкал в отсветах топки. — Приняли Декларацию прав человека? Приняли. Ты что, не человек?

— Человек, — соглашался Гурка.

— Так пусть тебя и защищают! Они должны защищать всех!

— Не смогут, — подумав, возражал Гурка. — Если всех взять... в одном Карлаге тут, у нас, почитай, тысяч тридцать.

— Хорошо, — соглашался Никита. — Но одного-то — смогут?

— Одного, пожалуй, потянут, — соглашался Гурка. — Да разве до их добересси? Как послать?

— Ты давай, что' послать. Его отец, — Никита мотнул головой в сторону Антона, — напишет. А дальше — не твоя забота.

Никита слов на ветер не бросал. У него был канал в свободный мир — сын его друга, кочегара с того же броненосца «Ослябя», моряк, жил в Одессе и ходил в загранку.

— Ермолай мне не откажет. Вместе в Цусиме полоскались. Уговорит сынка.

Письмо было написано, но адрес? Бывалого матроса Никиту и это не смущало.

— Да просто: Нью-Йорк, ООН — по-английски. Пусть Антон у своей англичанки спросит. Один раз, давно, когда ножей не знали, х... мясо рубили, одним словом, при Николашке еще, ждали мы прохода через Суэц, было дело с одним нашим матросом. По пьянке. Ну, не отпускают его из полиции — и все. К командиру корабля — нельзя. Мы сами, матросы, попросили мичмана написать на бумажке: дескать, где резиденция английского генерал-губернатора. И с этой бумажкой — по городу. Отыскали! Генерал-губернатор-то один. А ООН — одна на весь мир. Найдут.

И нашли. Из ООН обратились к Председателю Президиума Верховного Совета Швернику, в обком пришла телега за подписью Горкина — секретаря Президиума. На месте сначала не разобрались и на всякий случай Гурку арестовали — Поля, его жена, вся зареванная, прибежала к Стремоуховым ночью.

В НКВД у Гурки спрашивали две вещи: кто написал письмо и как его отправили в Нью-Йорк. Но Гурка был к обоим вопросам готов и отвечал, что сам написал, а письмо опустил в почтовый вагон поезда «Караганда — Москва». Ему не поверили, но он стоял на своем, как партизан. А когда отпустили, то в это тоже никто не поверил — уже дома. Соседи, все отбывавшие по пятьдесят восьмой и пять или десять «по рогам», квалифицированно разъяснили, что собрать в узелок, он потом с месяц висел у печки в Гуркиной избе. На работе Гурия восстановили — в это тоже никто не верил. Ходил даже слух, что начальника, кому врезал по замордку, уволили, но профессор Резенкампф, у которого как теплотехника были большие связи в депо, утверждал, что это неправда.

— Зайдешь в избу, Антон? — сказал Гурий. — Выпьем.

— С утра?

— А что? С утра выпил — весь день свободен.

— Спасибо, Гурий, в другой раз. Тороплюсь к Артисту Крышевичу.

— А, к дипломату, Артисту Крысовичу! Сходи, сходи. Отчетливый мужик. Кофеем напоит.

В Европах бывал, кофе делает хороший, крепкий, как рельс.

# Гимн Советского Союза

Атист Крышевич попал под Караганду, в Карлаг, а через десять лет, получив еще пять по рогам, — сначала в Степняк, а потом в Чебачинск. С молодости он был на дипломатической работе, больше ничего не умел. Правда, вскоре выяснилось, что нужны его языки. Он их и преподавал в местных школах — где какой требовался: английский, немецкий. Преподавать, впрочем, он тоже не умел: никак не мог взять в толк, как человек, учивший язык с пятого класса, к десятому не может составить самой простой немецкой фразы; его это приводило в страшное недоумение — с чего начинать, чему учить; к тому ж он не знал, как учить, в чем простодушно и признавался, говоря, что не имеет представления ни о каких методиках.

— А и никто не имеет, — не менее простодушно говорила ему историчка. — Вы поступайте как я: как меня учили, так и я учу. Вас как учили языкам?

— Мы разговаривали с гувернанткой. Или с родителями за обедом. По дням: сегодня по-английски, завтра по-немецки...

Он переводил на латышский Гейне, был знаком с Балтрушайтисом. У Антона он не преподавал; уже в десятом классе Антон принес ему свой перевод из Гете со словами, вспоминая которые, до сих пор покрывался краской стыда:

— Может, вы помните, еще Лермонтов переводил это стихотворение: «Горные вершины».

— Помню, — улыбался в роскошную седую бороду Атист Крышевич, — переводил...

— Понимаете, — горячился Антон, — у Лермонтова — сразу метафора: «спят». У Гете ничего этого нет. «ber allen Gipfeln ist ruhe» — и я так и перевожу: «На вершинах горных — тишина».

Я очень гордился точностью своего перевода — соблюдением метра подлинника, отсутствием перифраз. У Лермонтова был не тот размер, были и перифразы. Но почему-то и «спят во тьме ночной», и «полны свежей мглой» — все это мне безумно нравилось, завораживало и заставляло повторять. Свой перевод повторять не хотелось. Может, поэтому я горячился все больше.

— Надо просто, безо всего, понимаете?

— Понимаю, — еще ласковой улыбался Атист Крышевич. — Это стихотворение Гете — великое искушение. Я тоже... Ты не понимаешь по-латышски... Но я все же прочту. Тринадцать лет я не читал никому своих переводов.

Он закрыл глаза и начал читать. «Печаль на его лице сменилась тихим вдохновением», — определил Антон.

На прощанье он подарил Антону рукописный листок с русским переводом самого знаменитого стихотворения Гейне; писано было еще по старой орфографии: «Фраки, белые жилеты, Тальи, стянутые мило, Compliments, поцелуи, Если б в вас да сердце было». На листке не было имени переводчика, но этот перевод Антону потом никогда не попадался, ни Копелев, ни Ратгауз, ни Львов тоже его не знали.

В классе Антона немецкий язык преподавал не Атист Крышевич, а Роберт Васильич, суровый с виду немец; суровость ему придавала наглухо застегнутая темно-серая сталинка. Про него говорили, что в Энгельсе у него осталась жена или невеста, русская, которая не захотела ехать с ним в ссылку.

Как-то он сказал, что мы будем разучивать Гимн Советского Союза по-немецки, что спрашивать он будет каждого, потому что это не обычное стихотворение, а Гимн, мы должны его знать так же, как знаем по-русски. Гимн мы выучили — даже великовозрастный богатырь Илья Падалко, по прозвищу Муромец, не запоминавший вообще ничего.

Однажды Роберт Васильич вошел в класс с видом таинственно-торжественным; не раскрывая журнала, подошел к первой парте и объявил, что сегодня мы будем хором петь Гимн — по-немецки. Петь будем стоя, потому что при исполнении Государственного Гимна встают во всех странах, тем более в нашей стране — при последних словах Роберт Васильич оглянулся на дверь.

Хлопая крышками, мы встали. Роберт Васильич поднял руки и стал очень похож на немца из фильма «Падение Берлина», но Антону стало стыдно, что он это подумал, он замотал головою, чтобы прогнать такие картины. Учитель плавно взмахнул руками и запел. Со второго куплета мы запели тоже:

O Sonne der Freiheit  
Durch Wetter und Wolke...<sup>[4]</sup>

Когда закончили, наш дирижер сказал, что кто-то забегает, а кто-то отстает, нужно спеть еще раз. Мы спели, Роберт Васильич отметил, что лучше, но недостаточно воодушевления, необходимого в данном случае. В конце урока мы исполнили Гимн в третий раз, видимо, с воодушевлением, так как Роберт Васильич сказал, что все хорошо.

На следующем уроке, когда он, отметив в журнале отсутствующих, уже взял мел и подошел к доске, мы закричали: «Гимн, гимн!» Роберт Васильич смотрел, не понимая. Илья Муромец, главный организатор всех несанкционированных мероприятий, с трудом выпростав из недр парты руки и ноги, поднялся и заявил, что мы хотим петь Гимн. Немец кивнул, мы встали и дружно запели. За десять минут до конца урока Рита Зюзина, владелица наручных часов, сделала знак Илье, который снова встал и сказал, что закончить урок мы тоже желаем Гимном, что мы и сделали.

Гимн мы слышали по радио каждое утро перед занятиями, в девять ноль-ноль — в Москве это было шесть утра. Грязно-серый колокол динамика в школьном коридоре включался на полную мощность. Бегать в это время не дозволялось, поэтому мы подпевали репродуктору несколько другим текстом: «Однажды в студеную зимнюю пору сплотилась навеки великая Русь. Гляжу, подымается медленно в гору великий, могучий Советский Союз». Но это можно было делать только тихонько. Теперь же мы могли петь в полный голос.

На очередном уроке мы, встав при входе учителя, уже не сели, и когда он удивленно на нас посмотрел, завопили: «Гимн!» Роберт Васильич затравленно оглядел класс и поднял руки вверх.

Мы стали петь гимн на каждом уроке немецкого, в начале и в конце, а разохотившись, и по два-три раза. Однажды дверь отворилась и в класс вошел директор, Петр Андреич. Заканчивался первый куплет. Директор встал по стойке смирно и дослушал гимн до конца. Потом удовлетворенно кивнул головою и двинулся было к двери, но тут Илья Муромец мощно затянул: «O Sonne der Freiheit...», а мы дружно подхватили. Директор снова замер в стойке смирно. За эти недели мы славно спелись, а в этот раз пели с каким-то диким вдохновением. Роберт Васильич не дирижировал, а понуро стоял у стола и глядел в левый угол, называвшийся «дойчланд» — там сидели Фрида Шмидт, Эдик Гассельбах и Володя Федерату. Что чувствовал он, слушая гимн той власти, которая забросила его в далекий край, гимн на родном языке, исполняемый русскими, немецкими и казахскими детьми? Или он просто думал, что попал в западню, уроки срывались и что не мог же он, ссыльный немец, запретить этим жестоким детям петь Гимн Советского Союза.

Спевки продолжались.

Роберт Васильич покончил самоубийством, совсем немного не дожив до того времени,

когда немцам разрешили возвращаться в свое Поволжье.

O Sonne der Freiheit  
Durch Wetter und Volke...

# Два горных инженера

Пришла телеграмма — приезжал Николай Леонидович, старший сын деда. Это он вывез всю дедову семью во время голода с Украины, завербовавшись на рудник треста Сибзолото Сумак, на границе с Северным Казахстаном. Ему дали большую квартиру с мебелью. Дед тоже устроился — явившись в шахтуправление, сказал директору: нехорошо, что на таком знаменитом и богатом руднике нет парка. И предложил этот парк разбить, беря на себя в качестве ученого агронома руководство мероприятием. Директор устыдился, ассигновал деньги, работа закипела. Дед объявил, что парк будет точной копией — в миниатюре — Люксембургского сада в Париже. Это произвело впечатление, смету увеличили. «Но ты же не был в Париже!» — говорила бабка. «А, чего там!» — отвечал дед своим любимым присловьем, к которому иногда добавлял: «Не боги горшки обжигают». Благодаря этой затее он приобрел на руднике большую популярность, ибо образовалось некоторое число рабочих мест, что было очень кстати для безработных жен ИТР и ссыльных. То ли эпоха была такая, то ли дед был таков, но он без малейшей робости брался за все новые и новые дела. После духовной семинарии учительствовал; окончив экстерном сельхозинститут, стал преподавать в нем же практическую агрономию и пчеловодство; работал заведующим метеостанцией, преподавал литературу на курсах усовершенствования учителей.

Но долго в Сумаке семья не задержалась.

По службе дядя Коля был связан со старателями; в его лице они видели руку государства и находились с ним в постоянных контрах. Однажды он возвращался вечером с прииска. Дойдя до середины мостика через горную речку Сумку, увидел, что на той стороне дорогу загораживает старатель Васька Каторжнов. Дядя Коля оглянулся — там, где он только что взошел на мостик, уже стоял другой Васька, тоже с каторжной фамилией — Непомнящий, не меньше первого. С предшественником дяди говорил как раз Каторжнов, после чего инженер перевелся на другой рудник. С новичком тоже хотели что-то обсудить, но он разговаривать с ними не стал. Дело выходило дрянь, старатели были мужики лихие.

Васька неторопливо двигался навстречу. Дядя был силен — в отца, кроме того, здесь, на руднике, он свел знакомство с отставным поручиком Семевским, участником японской войны, командиром роты манчжурских стрелков-пластунов, который утверждал, что приемы русского рукопашного боя с оружием и без, восходящие к фельдмаршалу Салтыкову и генералиссимусу Суворову, превосходят по эффективности все эти джиу-джитсу, карате и ушу. Прием Суворова — Семевского, который состоял в неожиданном глубоком приседании и ухватывании противника за подколенки, дядя Коля перекинул первого Ваську через перила в речку. И не оглядываясь, пошел дальше.

Второй Васька догонять его не стал; встретив на другой день у драги, сказал: «Каторжнов шмякнулся головой, отдал концы. Теперь берегись, начальник».

Это была чистейшая туфта, Каторжнов, живой и здоровый, где-то отсиживался; дядя потом долго не мог простить себе, что клюнул на такую простенькую наживку. Но он клюнул и решил уехать. Тем более что подоспели другие неприятности: он взял на работу бывшего колчаковца, которого, как заявил чин из НКВД, давно разыскивали (что было неправда — тот спокойно жил в поселке). Дядя Коля перевелся на такую же должность на золотой рудник Степняк в Северном Казахстане, а семью перевез в Чебачинск, от него в сорока километрах. Задача на этот раз была гораздо проще, чем когда ехали с Украины, семья значительно уменьшилась: тетя Таня вышла замуж за беднягу Татаева, тетя Лариса — за горного инженера, тетя Галя уехала учиться в Харьков и там тоже вышла замуж. Дед с бабой и оставшимися при них Тamarой, Анастасией и

Леней погрузились на две телеги, запряженные быками, и через трое суток были на месте.

Так семья оказалась в Чебачинске. Городок лежал на берегу огромного чистейшего Озера (чебак — местное название плотвы), с десятков озер поменьше блестело среди гор и сосен Казахской Складчатой Гряды.

Войну дядя Коля закончил капитаном. Рассказывал про нее всегда что-то совсем другое, чем Антону приходилось читать (он читал все книги о войне) и даже слышать. Много — про дороги, точнее, — что их не было. Как при отступлении где-то в районе Пинских болот орудия бесследно проваливались в трясины вместе с расчетом; пушки, по его рассказам, почему-то тащили всегда сами, без всякой техники, до тех пор, пока не стали поступать американские тягачи-студебеккеры. Одно время он был командиром батареи «Катюш». Каждая из установок гвардейского реактивного миномета возила ящик с толлом, и он, командир, имел приказ: оказавшись в непосредственной близости от противника и предполагая вероятность попадания установки в руки врага, взорвать ее вместе с орудийным расчетом. «Почему вместе?» — «Чтобы не раскрыли врагу секрет нового оружия». — «А они его знали?» — «Нет, конечно. Что мог знать простой боец?» Но именно так, рассказывал дядя, погиб расчет одной из первых действующих установок «Катюш» вместе со своим командиром капитаном Флеровым. От дяди же Антон в первый раз услышал, что маршала Жукова солдаты не то чтоб не любили, но говорили: «Приехал Жуков. Теперь живым навряд останешься». Потом Кувычко-средний рассказал, что когда надо было сделать для танков проход в минных полях, Жуков приказывал по этому полю пустить пехоту; проход образовывался, техника оставалась в целости. (Через много лет Антон будет писать — и как почти все, не допишет — работу о том, что такой социум, такая странная эпоха, как советская, выдвигала и создавала таланты, соответствующие только ей: Марр, Шолохов, Бурденко, Пырьев, Жуков — или лишенные морали, или сама талантливость которых была особой, не соответствующей общечеловеческим меркам.)

Говорил еще дядя Коля о тех, кто выживал на фронте. Кто не ленился отрыть окоп в полный профиль, сделать лишней накат на землянке. Кто не пил перед боем наркомовские сто грамм — притупляется осторожность. Кто не шарил в Германии по домам. Дядя один раз попробовал — сержант сказал, что рядом в брошенном замке целая комната костюмов, а маркграф, судя по фотографиям на стенах, был мужчина крупный, как вы, товарищ капитан. Действительно, в гардеробной висело костюмов пятьдесят. Когда дядя Коля стал один примерять, откуда-то сверху, видимо со шкафа, на плечи ему прыгнул здоровенный рыжий немец. Дядю и на этот раз спасли приемы русского рукопашного боя. Но из Германии он не привез ничего, кроме двух пар подметок, которые ему подарил приятель — командир батальонной разведки, сын чебачинского сапожника дяди Демы, по всей Германии собиравший для отца кожаный товар.

Перед войной дядя оказался в Саратове, где золота не добывали. Но он быстро переквалифицировался и стал специалистом по нефтегазу. В Саратове первое время снимал комнату в доме у местного немца, которую превратил в пристройку с отдельным входом, построил сарай. От платы отказался и попросил хозяина заниматься с ним немецким языком — через год уже прилично говорил по-немецки, что ему очень пригодилось еще через три года.

К старикам из Саратова он приезжал на золотую свадьбу; я хорошо помню это торжество, когда съехались все; дед то и дело говорил: «лет шестьдесят тому назад», дядя Коля: «сорок лет тому назад», тетки: «тридцать лет тому назад».

До нынешнего его приезда надо было навестить двоюродную сестру Иру, она передала, что хотела бы поговорить. Идти не хотелось; к удивлению, о наследственных делах не было сказано ни слова, Ира просто хотела поговорить о своей покойной матери — «ты так хорошо все помнишь».

Ее мать тетю Ларису и своих сестер Иру и Лялю Антон увидел, когда бабка выписала ее с



рудника после того, как только что разбронировали и отправили на фронт ее мужа, в чем виновата была она сама.

Когда выпускник Петербургского горного института (он никогда не говорил: Ленинградского) Василий Илларионович Жихарев приехал на рудник Сумак, у Ларисы, третьей дочери деда, уже был жених, бухгалтер шахтуправления Энгельгардт — собственно, экономист, но работавший не по специальности за ненадобностью таковой на советском золотодобывающем руднике. И все бы ничего, но он был ссыльный и только начал отбывать свой пятилетний срок. «Это, к сожалению, не партия для нашей семьи», — говорила бабка, намекая на то, что он хотя и дворянин, что вообще-то является несомненным достоинством, но репрессированных и сомнительных в семье и так достаточно. Отец деда, священник, остался за границей, в Литве, и о переписке с ним знали где надо; незадолго до отъезда семьи в харьковской тюрьме умер младший брат деда, Иосиф, тоже священник (его предсмертное письмо, где он прощал своих мучителей, ибо не ведают, что творят, бабка часто перечитывала и всегда плакала); другой брат, о. Михаил, был расстрелян в восемнадцатом году в Иркутске; судьба третьего, полкового священника в армии Врангеля, была неизвестна (последние сведения о нем исходили от случайно встреченного дедом в Екатеринославе вольноопределяющегося Норова: о. Георгий осенял крестным знаменем роты, входящие в воды Сиваша); младший брат, Павел, не дожидаясь неприятностей, бросил, воспользовавшись женитьбой, священство, переселился в Москву и работал фельдшером. Положение его, впрочем, было тоже сомнительно: жена была дочерью тверского вице-губернатора, расстрелянного в восемнадцатом году по спискам в дни красного террора после покушения на Ленина. Дочери начинали в этом плане тоже не очень хорошо: у Галины, первой вышедшей замуж как будто удачно, оказался не в порядке свекор — отбывал срок не то в Соловках, но то на Беломорканале.

Дядя Коля пригласил новоприбывшего инженера домой. Увидев Ларису, тот уже в конце вечера объявил, что сражен, что таких русалочьих глаз и как водоросли волос он не видел никогда, и стал бывать у Саввиных ежедневно. Новый претендент, уступая Энгельгардту в происхождении (его отец был из казаков и хоть считался дворянином, но бабка в казацкое дворянство не верила), был зато перспективен, блестящ, всех очаровал. В первый же визит объявил: «товарищей» он не любит, а в партию вступил потому, что не хочет давать им форы, деду читал наизусть Пушкина, а тете Ларисе — Есенина. Играл на гитаре, пел приятным тенором «К чему скрывать, что страсть остыть успела, что стали мы друг другу изменять»; с тетей Ларисой они пели на два голоса «Оля любила цветы. Низко голову поклонит, милый, смотри, василек — твой все плывет, а мой тонет»; потом этот романс Антон нашел у Апухтина — конечно, без кровавого конца, которым заканчивался песенный вариант.

— Это — партия, — говорила бабка. — Дворянич. Конечно, казацкое дворянство... Но зато он состоит в РКП — у нас в семье еще никого не было из РКП.

— Ты бы, мама, хоть название запомнила, — нервничала тетя Лариса. — Уже давно они — ВКП(б).

— И совершенно напрасно. РКП гораздо благозвучнее.

С этим Антон был совершенно согласен. Про РКП была песня: «РКП — мамаша наша, РКП — папаша наш», а про ВКП(б) песни не было. (Позже уже Антон поправлял бабку — когда она вместо «Маленков» упорно говорила «Милюков».)

Лариса колебалась...

Когда у нее спрашивали — почему, говорила какую-то чепуху: что все песни и романсы, которые поет жених, — про измену. Над ней смеялись; дед говорил, что такова тематика двух третей любовных романсов. «Но не всех же», — возражала дочь.

Вскоре молодожены уехали на другой рудник треста Каззолото, куда Василий

Илларионович получил назначение на должность главного геолога. Оклады в Каззолоте, недавно перешедшем в подчинение НКВД, со всеми надбавками были сказочные: главный инженер получал в месяц несколько тысяч (зарплата матери Антона, учительницы, была двести пятьдесят рублей). Кроме того, Василий Илларионович большие деньги получал за свои выезды на рудники, где разведанные месторождения оказались выработанными и насущно необходимо было определить район дальнейших разработок — найти золотую жилу. Молва гласила, что у Жихарева нюх.

Действительно, ему всегда сопутствовала удача: жилу он находил. Обставлял это театрально: водил за собою комиссию по колючим зарослям и косогорам, держал на ребре ладони на весу ивовый прут, наполовину очищенный от коры (так делали старики-рудознатцы), велел выкапывать из земли какие-то корешки и нюхал их; закрыв глаз, ложился ухом со стороны этого глаза на землю. Потом топал ногою: здесь. Пригоняли технику, забуривали шурф, промывали вынутую породу, работали день и ночь; где было топнуто, оказывалось золото.

— А как на самом деле вы определяете? — осторожно спрашивала бабка, когда в застолье зять в красках все это изображал.

Источник знаменитого чутья геолога Жихарева был прост: «Горный журнал», комплект которого с 1888 года он купил еще студентом и с которым никогда не расставался, возя его в двух чемоданах по всем рудникам и читая ежедневно на ночь.

— Ну, а зачем ивовый прут, лечиться на землю...

— А иначе с ними нельзя! Если сказать, что еще в 1889 году маркшейдер Лисицын в своей статье писал, что в Сибирском Поясе, в его складчатой структуре золотым россыпям соответствует концентрация таких пород, как — ну, я не буду, вы все равно не поймете — если это сказать, не поверят. Слишком просто! В чертовщину всегда верят охотнее. Тут меня приглашают в Бодайбо, так я им собираюсь сказать, что Хозяйка Медной горы... — от смеха он не мог продолжать.

Начальство плакало от счастья: руднику грозило закрыться, куда было девать людей многотысячного поселка? Василию Илларионовичу выписывали деньги каким-то левым образом — будто бы он работал здесь по совместительству, хотя от места его постоянной работы этот рудник отстоял на тысячу километров. Дополнительно ему привозили из Торгсина ящик шампанского — все знали, что Жихарев пьет только шампанское и бывший шустовский, а ныне армянский коньяк.

При всем том его жена, тетя Лариса, ходила в таком старом пальто, что перед женами других ИТР было стыдно. Из всех талантов Василия Илларионовича самый большой был — тратить деньги.

Каждый год, все восемь лет до войны, он ездил на курорт — всегда в Кисловодск. Деньги с собою забирал все — и отпускные, и левые. И каждый раз перед окончанием срока присылал телеграмму (не прислал, кажется, только раз) с просьбой выслать на билет. Не только привыкшая считать копейки бабка, но и дядя Коля, и все знакомые, зная, на кого это шло, все же поражались, каким образом за три недели можно истратить такие сумасшедшие (всегда был только этот эпитет) деньги. Завесу с тайны снял Антон — уже будучи студентом.

В деканате Антону сказали, что ему звонили из приемной замминистра геологии. Звонил, конечно, Василий Илларионович, который ехал через Москву в Кисловодск на бархатный сезон.

— Что делаешь вечером? — спросил дядя по пути в гостиницу «Москва». — Кстати, уже пять часов. Распакуюсь — и не рвануть ли нам в Большой?

— А билеты?

— Чудачок, кто ж туда по билетам ходит. У тебя случайно нет конверта?

Конверт случайно оказался, Антон поспешно стал выдирать лист из общей тетради. Но

бумагу Василий Илларионович не взял.

В Большом давали «Сусанина». Миновав толпу искателей лишнего билетика, мы с дядей подошли к билетерше.

— Мы тут с этим симпатичным студентом хотели бы послушать Максима Дормидонтыча. Кстати, Перерепенко просил передать этот конверт. Через десять минут мы подойдем.

Я поинтересовался, кто таков Перерепенко.

— Никто. Какая разница. Ну Перебийнос. Или — как там звучала фамилия у казаха в твоём классе?

— Зайбашин.

— Лучше всех! Заебашин. Перерепенко — пароль. Она поняла, не волнуйся.

Когда мы вернулись, понятливая билетерша уже издали лучезарно улыбалась нам, как всегда и везде улыбались главному геологу шахты «Первомайская» официанты, таксисты, продавщицы, контролеры, железнодорожные проводники, парикмахеры. Рядом с ней оказалась вторая, еще улыбчивее, она проводила нас в одну из лож первого яруса.

В антракте Василий Илларионович говорил, что валенки Сусанину можно было найти и не столь фабричного вида, что Дормидонтыч считался любимым протодьяконом патриарха Тихона (это не удивило — Михайлов до дрожи нравился мне в роли протодьякона в первых сценах эйзенштейновского «Ивана Грозного»), но был еще один великий бас — Лебедев, его расстреляли, он был лучше Михайлова.

В антракте гуляли в партере; Антон процитировал классика: «Пожилые дамы были одеты как молодые и было много генералов».

— Скорее, молодые, как пожилые — все в панбархате, чернобурках, песцах. А вообще эта вереница юных красавиц напоминает эшелон фрицевых жен, с которым я ехал в Казахстан. И оккупанты, и наш генералитет отбирали, конечно, лучший женский материал.

Дядя вдруг видимо поскукнел. Отправились в буфет. Официантки не было видно, за соседним столиком уже нервничала какая-то пара. Но стоило Василию Илларионовичу сесть, как к ним тут же подлетела симпатичная девица в белой наколке, и через несколько минут уже несла мельхиоровое ведерко, из которого в разные стороны смотрели два шампанских горлышка: одно — золотое, другое — серебряное, поставила тарелку бутербродов с черной икрой — на столе были только с красной. Бутерброды и пирожные Антон с трудом доел, запивая шампанским, налитым из серебряной бутылки; вторую даже не открыли, Антон хотел ее прихватить — заплачено! но Василий Илларионович огорчился лицом, и златоглавую красавицу оставили симпатичной девице.

Вечером следующего дня мы уже сидели в известном «Поплавке», который тогда стоял на якоре на Москва-реке недалеко от кинотеатра «Ударник». Вскоре столик был уставлен тарелками с икрой, осетриной и бутылками с шампанским; Василий Илларионович выглядел довольным, что наконец-то племянник вырос и с ним можно как следует посидеть и выпить и поговорить на мужские темы.

— Меня твои родственники за Ларису осуждают. Они в чем-то правы... Тетка твоя хорошая женщина. Но она инфантильна. А я люблю, чтобы женщина у меня в руках пицала и билась!

Декламировал стихи: «Целовал я у Ортрудочки нежно-трепетные грудочки, как котенок, часто голенькой на ковре резвилась Оленька».

Читал и что-то более знакомое: «Люблю как-то странно, туманно, нежданно, гипнозно-полночно, блудливо-порочно, так нежно-мимозно, так тайно-наркозно...»

— Северянин?

— Какое имеет значение! Ты послушай: тайно-наркозно...

Пили шампанское — любимое вино сэра Уинстона Черчилля. Я уже не раз слышал от дяди

такую квалификацию советского напитка. Василий Илларионович с удовольствием рассказал ее историю.

Когда во время войны Черчилль прилетел в Мурманск, за ужином адмирал, кажется, Кузнецов, угостил его советским шампанским; то же было и в Москве. Черчилль вино похвалил. Потом он вернулся и возглавляет себе спокойно вооруженные силы Великобритании. Однажды его будят глубокой ночью: пришла шифровка, через час должен приземлиться, если не собьют, советский самолет. Премьер-министр, не любивший, чтобы ему прерывали еду и сон, чертыхаясь, одевается и едет на военный аэродром. Самолет благополучно приземляется; майор советской армии передает пакет лично сэру Уинстону Черчиллю от маршала Сталина. В нарушение всех протоколов Черчилль вскрывает пакет тут же, читает, читает еще раз. Наши солдаты меж тем сносят по трапу какой-то груз. Груз оказывается ящиком с советским шампанским. Черчилль благодарит за сопроводительный подарок и спрашивает, где же основной пакет, ради которого был затеян столь опасный перелет. Вежливо, но твердо майор говорит, что ничего более вручить или сообщить господину премьер-министру сэру Уинстону Черчиллю не имеет. Премьер отдался позже кинофильмом «Багдадский вор», за что Антон ему был очень благодарен.

В конце рассказчик сделал знак, официант подошел и открыл вторую бутылку любимого вина великого человека, за здоровье которого дядя и предложил, когда официант отошел, выпить. Вкусы главы британского правительства и главного инженера сибирского рудника вообще совпадали: оба предпочитали сигары (в ту, докубинскую эпоху дядя доставал их за большие деньги у швейцаров «Националя» в Москве и «Европейской» в Ленинграде) и бифштексы, любимой лентой и того и другого была «Леди Гамильтон» с Вивьен Ли и Лоуренсом Оливье. Дядя расковался: говорил «наши союзники по соцлагерю», «госкапитализм».

— Но что нам сегодня играют? — он повернулся к оркестру. — Врут кларнеты, как кадеты, врет тено'р. Палкой машет, точно шашкой, дирижер. Это я так, к слову, оркестр как будто ничего.

Оркестр действительно был на удивление профессионален, певец — для ресторана — тоже неплох. Репертуар сначала ориентировался на тридцатые годы: «Дымок от папиросы, дымок голубоватый» Агнивцева-Дунаевского, «Вдыхая розы аромат». Но потом пошло что-то новомодное. Василий Илларионович вручил мне пять рублей и послал в оркестр заказать танго «Брызги шампанского». Не успели музыканты закончить, как я был снова командирован, уже с десятью рублями, потом с пятнадцатью, затем с двадцатью. Заказывать следовало все то же — «Брызги шампанского». Дядя слушал, тихо напевая: «Новый год пришел, законы новые, колючей проволокой наш лагерь обнесен. И сквозь решеточки глаза голодные, и каждый знает, что на смерть он обречен». После четвертого или пятого раза цель заказчика стала ясна: оркестр весь вечер должен играть только для него. Гонорар музыкантам стал расти уже в геометрической прогрессии. Раза два кто-то подходил к оркестру, но после разговора с маэстро уходил на свое место; оркестр продолжал играть «Брызги». За столиками стали улыбаться, подымали рюмки и кивали в нашу сторону. Вскоре Василий Илларионович оказался главным лицом в зале; стали подходить чокаться.

— Твое здоровье! Летчик?

— Нет.

— Подводник?

— Почти.

— Ну, все равно. Наш человек. Выпьем!

Со своей бутылкой подсел хирург из Первой градской; через пять минут мы уже пели с ним «Gaudeamus» и он умолял меня ложиться только к нему, клянясь, что разрежет меня всего по

высшему классу.

Где-то в середине вечера дядя сходил в оркестр уже сам, о чем-то поговорил с маэстро и меня больше не посылал, очевидно, щадя юную впечатлительность; до закрытия оркестр играл «Брызги шампанского». Стало понятно, как за один вечер можно истратить несколько месячных зарплат.

Деньги Василий Илларионович тратил не только на оркестр. Во время войны на руднике у него было сразу две любовницы. Мужу одной кто-то стукнул. Муж-смершевец прислал письмо своим тыловым коллегам, где писал, что пока он защищает родину, некоторые другие и т. п. Коллеги дали сигнал в шахтуправление и партком, дядю сняли с должности главного геолога и отправили рядовым геологом в шахту; говорили, что он легко отделался.

Второй его любовницей была цыганка Настя, украденная каким-то старателем в таборе; старателя вскоре зарезали товарищи при дележе намытого золота; Настя временно работала в подсобке магазина. Тетя Лариса, узнав про нее, явилась в магазин и при стечении народа устроила скандал, расцарапав распутнице всю рожу, а потом нажаловалась в тот же партком. Возбудили персональное дело, Жихарева за моральное разложение исключили из партии и рекомендовали разбронировать. Это означало — послать на фронт. Резко возражал новый главный геолог, говоривший, что с т. Жихаревым они только-только начали разведку нового месторождения, что талант т. Жихарева всем известен и что здесь он принесет пользы гораздо больше, ибо сейчас стране особенно нужно золото. Но секретарь парткома сказал, что золото надо мыть чистыми руками, бронь сняли и Василия Илларионовича отправили на фронт. Кто как туда попадал, говорил кочегар Никита, ваш Василий — за блядство.

Бабка немедленно выписала тетю Ларису; та, бросив квартиру, мебель, огород, продав случайным людям корову (деньги они так и не прислали), приехала с двумя детьми в Чебачинск. В поезде вышла покурить в тамбур, оставив сторожить вещи шестилетнюю Лялю и четырехлетнюю Веру; пришел какой-то мужик и сказал, что мама велела перенести чемоданы в другой вагон, где лучшие места, — и был таков; приехали они в чем были, девочки потом долго ходили в мальчиковых — моих — рубашках. Поселились они в той же комнате, где жили мои родители и мы с сестрою.

Специальность у тети Ларисы для сельской местности была как будто нужная — зоотехник. Но и ферма колхоза «XII годовщина Октября», и конные двory техникума, педучилища и стеклозавода обходились без зоотехнического надзора — местные коровы красной казахской породы никогда не болели, а лошадей в случае любого заболевания немедленно пускали на махан — конина пользовалась большим спросом у казахов.

Мама устроила сестру к себе в химическую лабораторию горно-металлургического техникума. Первое, что она там сделала, — уронила себе в туфлю кусок едкого натра — очень сильную щелочь, и почему-то не сразу его вытащила, натр прожег ногу до кости. Ее деятельность закончилась, когда в техникуме появился эвакуированный преподаватель, жена которого имела химическое образование; тетю Ларису уволили.

Она устроилась в собес, но вскоре потеряла папку учетных карточек инвалидов, и две улицы перестали получать пенсии, инвалиды вламывались в собес, стучали костылями. Одного, без рук, без ног (таких на жаргоне называли самоварами), в детской коляске привозила жена. Бабка сказала: уходи, пришлют вредительство, пойдешь под суд. Тетя уволилась и больше уже нигде и никогда не работала. Нежеланьем работать вообще дядя Коля объяснял ее неудачи на всех службах. Вместе с работой она лишилась и хлебных карточек, что ее тоже, видимо, мало смущало; она считала, что жизнь ее загублена и все должны ей помогать.

У нее была подруга — Маруся Карась, такая же неудачница, приехавшая хотя с КВЖД, но тоже без всяких вещей и почему-то, рассказывали, без юбки под пальто. Подала заявление, в

техникуме ей выписали материю, но был только белый мадеполам, и она долго еще ходила, как невеста, зимой и летом в белоснежных платьях. Как сейчас помню: подружки сидят на кухне вечером, не зажигая огня, курят и не говорят ни слова. («Курят и молчат!» — поражалась наша словоохотливая бабка.) Курение, которому обучил тетю Ларису Василий Илларионович, вообще сыграло в ее жизни роковую роль: из-за него ее обокрали, вторая ее дочь из-за этого родилась семимесячной и всегда болела; умерла тетя от рака легких — в пятьдесят лет.

В июне сорок пятого возвратился Василий Илларионович. Его байки о войне совсем не походили на рассказы дяди Коли. Все было как-то легче и почти весело, хотя на фронте он находился почти до конца и вернулся после госпиталя, с медалями и даже с орденом Красной Звезды. Правда, от него осталась только орденская книжка — саму звезду дядя в Торгау, на Эльбе, сменял у какого-то американца на бутылку виски — тому очень хотелось, а никто не соглашался отдать «Звездочку». Жалел дядя, впрочем, не очень — орден он, по его словам, получил дуриком: какой-то автоматчик вел шестерых пленных и уступил их за пачку трофейных сигарет; дядя привел немцев в штаб и был представлен к ордену. А за то, что наводили переправы под огнем и гибли один за другим, — за это не давали ничего или скупно — по одной-две медальки на весь саперный взвод и никогда — орден. Даже возвращался с фронта он интересно: устроился при конвое, сопровождавшем в Карлаг эшелон фрицевых жен, или немецких овчарок — женщин, осужденных за сожительство с немцами. Но про это путешествие он почему-то помалкивал, говоря только, что никогда в жизни не видел столько красавиц разом.

В доме стало веселее — дядя все время рассказывал эпизоды из своей военной и невоенной жизни. Ему, он считал, везло — даже в госпиталь он попал в столь любимый им Кисловодск, где сразу нашлась знакомая врачиха, которая устроила его в отдельную генеральскую палату, пока не было очередного генерала или полковника, — «ну, она, конечно, больше заботилась о себе». Но эта лафа продолжалась недолго — в палату врачиха вынуждена была подселить выздоравливающего корреспондента «Красной Звезды», любимца ее редактора Ортенберга, известного еще до войны писателя, человека хорошего, компанейского, но в этой ситуации совершенно лишнего. Василий Илларионович как-то заметил, что в больничном саду нянечка всегда сливает судна под кипарис. Проходя со своим соседом мимо этого кипариса, он обронил: «Вы заметили, чем пахнет от этого дерева?» Писатель принялся: «Странно. Как будто мочой». — «А вы не знали? Сразу видно, что на югах бывали редко. От кипарисов всегда так пахнет — как писателю вам это не мешает запомнить». Потом дядя хохотал, найдя эту выразительную деталь в очерке писателя, написанном после излечения.

Отменили военный запрет на хранение охотничьего оружия. Василий Илларионович немедленно продал свою еще до войны купленную немецкую двухстволку «три кольца», выдав ее за трофейную, и стал устраивать застолья — надо ж было отметить как подобает благополучное возвращение с театра войны.

Выпив бутылку любимого вина Уинстона Черчилля, он сильно веселел. Или начинал петь «Без тебя, моя Глафира, без тебя, как без души, никакие царства мира для меня не хороши», или — спорить по любому поводу.

— В человеке, как писал Чехов, — говорил дед, любивший классические цитаты, — все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

— И обувь, — быстро вставлял Жихарев.

— У него нет про обувь.

— Есть, я читал!

— Где же это вы читали, милейший Василий Илларионович? В центральной публичной библиотеке рудника Сумак?

— Мало ли где. Вон моего земляка Шолохова спрашивали — было в какой-то газете — вы работали в архивах? Да, отвечает, работал. А в каких? А он: в архивах. Вообще, значит. Но — к Чехову. Вы были в его музее в Ялте? Если б вы там были, как я, то увидели б, какую он носил прекрасную обувь, какие изящные остроносые башмаки!

В такие моменты Василий Илларионович подшучивал и над тещей, чего обычно себе не позволял.

— Ольга Петровна, я понимаю, предложение вам Леонид Львович долго не мог сделать — был без места. Но пока он у вас обедал — вам-то он нравился?

— Конечно. Он был очень представительный. Рост, фигура. Усы! Но были некоторые сложности. Недели две у нас обедал гвардейский офицер из Петербурга, в Вильне он занимался ремонтом.

— Что же он починял?

— Зачем ему было что-то починять? Он был ремонтёр.

Выяснилось, чего никто не знал: ремонт — это покупка полковых лошадей.

— Понятно. Он был конногвардеец. Рост, фигура, усы. И что же?

— Через неделю он подарил мне гелиотроп и адонис весенний. И я их приняла.

— Ну и что?

— А вы разве не знаете, что это значит на языке цветов?

— Ммм... Приблизительно.

— Сейчас этот язык, к сожалению, забыт. Между тем на нем можно было выразить все. Бересклет — твой образ запечатлен в моем сердце, лисохвост — тщетное стремление, божье дерево — желанье переписки, ландыш — тайная любовь, крокус — размышление, колокольчик — постоянство... И так далее — целая наука.

— А что означали те цветы, что ремонтер преподнес вам?

— Всепоглощающую любовь и просьбу о сближении. Намек на серьезные намерения. А что, сейчас разве барышням не дарят цветов?

— Дарят, — мрачно сказала тетя Лариса. — Корзинами. Розы. По сто рублей за корзину.

— Серьезность намерений это означает и сейчас. — Василий Илларионович совсем развеселился. — А признайтесь, Леонид Львович, пока вы больше года ждали, у вас с Ольгой Петровной что-нибудь было? Я вижу, было.

— Было, — несколько смущенно говорил дед. — Я сколько хотел, мог целовать ей ручку, и не только при матушке. Ну, конечно, приобнимешь слегка, как бы случайно, где-нибудь на лестнице... Времена были уже не такие строгие.

— Он был легкомыслен до неприличия, — вступала бабка. — Приезжал на обеды на велосипеде!

— С разновысокими колесами? — встрепенывался Антон.

— Нет, к этому времени, — уточнял дед, — колеса были уже одинакие. У меня был прекрасный английский велосипед.

Особенно возбуждала дядю частая гостья, соседка-учительница, грудастая кормящая мать. Он любил при ней спрашивать, правда ли, что женское молоко содержит десять элементов таблицы Менделеева — вы, Настасья Леонидовна, должны как химик-органик это знать. Или с серьезным видом интересовался, не расстраивается ли у нашего милого младенца иногда животик?

— И очень часто, — озабоченно отвечала мамаша, которая хоть и была настороже, всякий раз покупалась.

— Антон, — строгим голосом говорил Василий Илларионович, и Антону уже было ясно, что будет востребована его способность дословно запоминать самые разнообразные

прозаические тексты (стихи он запоминал несколько хуже). — Антон, не мог бы ты напомнить нам, что писал по этому поводу лет семьдесят тому назад врач Троицкий в своем известном курсе лекций о болезнях детского возраста?

— «У кормящих грудью матерей и кормилиц, — быстро начинал Антон, — умеренные половые отправления не оказывают вредного влияния, чрезмерные же могут производить пока неизвестные нам изменения в составе молока, благодаря которым последнее начинает вызывать у детей временные расстройства кишечника».

Мужчины хохотали, кормящая учительница становилась пунцовой:

— Пощадили бы ребенка, Василий Илларионович. Это непедагогично.

— Он не понимает, — говорил дядя, и в данном случае это была правда, потому что Антон действительно очень смутно представлял, что такое половые отправления. Чувствуя, что надо разрядить обстановку, он проявлял инициативу, возвращая разговор к прежней теме.

— Дед, а за что ты влюбился в бабу?

— Она очень изящно разливала чай, — дед ласково поглядел на потупившую взор жену.

— Ну конечно, — подхватывал Василий Илларионович, — локотки, шейка...

Бабка удивленно вскидывала глаза.

— Оголенные руки и плечи — это могло быть исключительно на балу. За обедом — только закрытое платье с рукавами до запястья; возможны кружева — простые вологодские, выпущенные на четверть ладони.

Остановиться главный геолог уже не мог. Тамару посылали еще за шампанским. Пока она ходила, Василий Илларионович в нетерпении мерил шагами комнату, подходя к окну, к книжному шкафу.

— Леонид Львович, ну что у вас за книги? «Сорные травы на полях и их истребление». Санкт-Петербург, 1899 год. Ну кто сейчас будет истреблять на полях сорные травы? Наши колхознички? «Учебная книга свинарки». Какая нынешняя свинарка... Впрочем, тут еще одно пособие на эту тему: «Учебная книга свинаря». Это уже любопытно! Значит, свинарь должен откармливать свинок как-то иначе? Очень интересный поворот темы! Полистаем. Так... Подсвинки... Запаривание отрубей... Да нет, что-то все одно и то же и у свинаря, и у свинарки... А это что? Заставлено, но часть заглавия прочесть можно: «Конституция...» Неужто читаете про самую демократическую в мире? «...и экстерьер сельскохозяйственных животных». Даже по обложке видно: с конституцией и экстерьером у этих хряков и быков-производителей порядок полный. Ба, да тут вот что есть! «Женский половой аппарат...»

— Это не то, что вы думаете.

— «...живородящих мух». Н-да, действительно... Почему у вас нет настоящих книг?

— Я предполагаю, какие книги вы имеете в виду. Таких не держу-с.

— Понимаю, на что вы намекаете! А я имею в виду совсем другое. Zum Beispiel, то есть например, как сказали бы в Восточной Пруссии, где, кстати, Гретхен были весьма недурны. Читали ли вы книгу «Продажа девушек в дома разврата и меры к ее прекращению», вышедшую в Москве в конце века? Или другую, изданную иждивением Императорской Академии Наук в конце позапрошлого века: «О благородстве и преимуществе женского пола»?

— И подобных книг я не держатель.

— Ну, уж если хотите ближе к любимой вашей биологии, то знакома ли вам такая брошюра: «О возможности разведения кенгуру в Новороссийских степях»? Издана в Харькове в 1880 году. Прожектерство? Здоровое прожектерство необходимо для развития общества. А известна ли вам книга «Гонорея у горилл»? И напрасно! Там подробно обосновывается, почему венерические заболевания бывают только у приматов.

Это было прекрасное название. Даже лучше, чем «Жизнь жужелиц». «Гонорея у



горрилл, — бормотал в тот вечер Антон, засыпая. — Гонорррея у горрриллл».

На пенсию Василий Илларионович как горняк мог уйти пятидесяти лет; перед этим он уехал, без семьи, куда-то на Север, чтобы пенсию получить максимальную. Там, разумеется, завел молодую любовницу, но, видимо, всегдашнее везенье кончилось: заболел тяжелым воспалением легких и долго лежал в больнице; любовница сразу его бросила; когда наконец он вызвал жену, воспаление успело перейти в скоротечную чахотку; в Чебачинск она привезла его уже в отчаянно плохом состоянии. Его поместили в тубдиспансер на горе. Тетя Лариса ходила к нему каждый день, дочек не брала, боясь заразы. Василий Илларионович лежал тихий, на себя не похожий. Просил у жены прощенья, говорил, что испортил ей жизнь.

На ноябрьские праздники мои отец и мать пошли его навестить. Через соседку-медсестру он передал, чтобы принесли шампанское. Знал ли он, когда по старой врачебной традиции туберкулезным больным дают шампанское? Мог знать — от персонала, работавшего еще с профессором Халло, от старых больных. Мои родители посидели у его постели, выпили с ним. К ночи он умер.

Тетя Лариса пережила его всего на два года. Мужа она не простила: завещала похоронить себя отдельно, а не рядом с ним.

# Отважный пилот Гастелло

Всё настоящее о войне Антон узнал *на бревнах* перед домом лесника Шелепова. Дом стоял над плотиной, и все, кто возвращался вечером с приречных или зареченских огородов, не могли его миновать; увидев знакомых, присаживались покурить, а то и выпить. Шелепов, сам человек трезвый и положительный, не возражал, и в нужный момент говорил негромко: «Мать!» — и жена, каким-то образом услышав его за двойными рамами, выносила миску картошки в мундире, всегда теплой, и соленых огурцов. Был он кавалеристом — в гражданскую во второй конной Миронова, а в эту — у Доватора. Низкорослый, кривоногий, он обладал невероятной силой, и когда на бревнах доходило до грудков, начинал покашливать, как бы прочищая горло, и спорщики поутихали. Разговор шел военный-откровенный — все были фронтовики.

Первым, по-соседски, приходил Сумбаев, капитан (и нам, и взрослым он велел называть себя не по имени-отчеству, а именно так), еще когда на бревнах после лапты сидели мы. С нами он любил разговаривать, кажется, больше — мы не смеялись, когда он рассказывал: «Слышим — мотор. Броневики белых! Я загибаю левый фланг, шашки наголо, в атаку — рысью — марш!!!»

Себя Сумбаев именовал ветераном пяти войн. По возрасту не сходилось, и Генка Меншиков, помнивший наизусть все, относившееся к войне, как-то отважился:

— Товарищ капитан, а какая пятая?

— Какая? Считай: русско-японская — Цусима, оборона Порт-Артура, слышал? Загибаем второй палец: та германская, третий: гражданская, потом — финская и — вторая японская. Ну?

Антон только что прочел замечательный роман «Порт-Артур» и тоже помнил дату. Как же Сумбаев мог успеть?..

— Вижу, сомневаешься, — капитан уставил указательный палец в сторону Антона. — Бухгалтеришь: сколько годков мне было. А хоть бы и пять! Мой отец, штабс-капитан Сумбаев — участник обороны, Георгиевский кавалер. Я в Порт-Артуре и родился. Японцы били не слабее, чем в эту войну. Знаешь, какие калибры были на их крейсерах? То-то, не знаешь. А шестнадцатидюймовый снаряд не разбирает, солдат ты или титьку сосеешь.

Сумбаев преподавал военное дело в техникуме. На первом месте у него стояла строевая подготовка, гонял студентов по двору часами, до изнеможенья; группы менялись, со всеми он маршировал сам, но был всегда подтянут и свеж. Директор, если ему нужно было выйти в сортир, старался поймать момент, когда капитан уводил своих питомцев на пяточок за здание маминной химлаборатории, где, я не раз видел из ее окон, отрабатывал с ними ползание по-пластунски. Но старый солдат ориентировался мгновенно:

— По направлению — к одинокой фигуре — товарища директора — бегом — марш! Смирна! Равнение на середину. Товарищ директор Чебачинского горно-металлургического техникума! Студенты первой группы второго курса вверенного вам учебного заведения отрабатывают строевую подготовку на плацу. В списочном составе группы значится...

Директор с тоскою поглядывал на дощатый домик в углу двора, но прервать военрука не решался.

— Из них участников Великой Отечественной войны пять. По состоянию здоровья как инвалиды войны третьей группы военную подготовку не проходят трое. На занятии отрабатывается прием «на пле-чо!», а также передвижение по-пластунски.

Это была вторая любовь капитана: студенты ползали в любую погоду, вставали грязные, отказники наказывались строго. Третьей любовью было рытье окопов. Рыли лежа, саперными лопатками, комплект которых из восьми штук принадлежал лично капитану и которые он, зачехлив и обвязав шпагатом, после занятий уносил домой. Копали ячейки и полупрофиль, и

капитан очень сожалел, что нет времени на окопы полного профиля. Рытье окопов вообще не входило в программу, но Сумбаев смириться с этим не мог.

— Что за солдат без окопа! Вон в педучилище (там работал его конкурент капитан Шарпатый) все в аудитории сидят да схемы чертят. А мои орлы — хоть сейчас под огонь, в бой, в атаку!

Похоже, что это было действительно так.

Долго усидеть на бревнах он не мог, вскакивал и тыкал пальцем — в Антона как самого внимательного или в Генку Меншикова как наиболее подкованного по военной части:

— Марш-бросок. Шинели в скатках. Вдруг — дождь. Какую команду дает ротный?

— Накройсь! — Генка тоже вскакивает, так как к нему обращается старший по званию.

— Ошибка! Это — про головной убор. Ты хотел сказать: скатки раскатать!

— Хотел.

— А шинель намокнет? Чем ночью укрыться? Она — одна на все про все.

— Тогда не раскатывать.

— Гимнастерка вымокнет. Что лучше: сухому спать под мокрой шинелкой или мокрому — под сухой?

Генка оторопело смотрит на Антона, Антон на Генку.

— Раскатать! — с торжеством говорит капитан. — Русское шинельное сукно чтобы промочить, полдня проливному дождю идти надо.

— Вопрос другой: как располагаются солдаты второй линии в двухшереножном строю? — Сумбаев вглядывается в каждого из нас своими пронзительными серыми глазами и сам же отвечает: — Строго в затылок. А какая дистанция между линиями в многошереножном строю? Один шаг! Вопрос последний и главный: как надо равняться в шеренге?

Это знал и я:

— Видеть грудь четвертого человека.

— Точно. А что было записано в армейском уставе сто лет назад? Видеть грудь третьего человека. Смекаете, в чем разница?

Генка, может, и смекал, я — нет, не знаю до сих пор. Остальные сведения очень пригодились (сведения все когда-нибудь пригождаются, ненужных не бывает): на занятиях по спецподготовке в университете подполковник Бицоев однажды задавал точь-в-точь те же вопросы, и я поразил его своей строевой эрудицией.

Подходил егерь Оглотков, бывший минер, танкист Крысчат, сапер-шофер, или шофер-сапер («и так и так верно!») Кувычко. Антон знал: опять начнется спор, солдату какого рода войск опаснее всего. Когда зацвели огурцы, сошлись на том, что связисту, таскавшему катушку. Поражались, что Антонов дядя остался жив и даже не был ранен. «Небось в штабах ручку крутил». Антон в тот же вечер передал это дяде Лене. «Их бы. В мои штабы». Антон воспользовался случаем и спросил, знает ли дядя про героя-связиста Титаева, о котором есть в очень интересной книге о комсомольцах — «Идущие впереди», автор Гуторович. Дядя не знал, и Антон прочел ему наизусть: «Порвалась связь. Линейный надсмотрщик Титаев был послан исправить повреждение. Ночь. Мороз. Вьюга. (Это место особенно нравилось.) Нужно проползти в глубоком снегу вдоль окопов жестокого врага. Когда комсомолец нашел обрыв, его трижды ранило. Умирая, он последним усилием схватил оба конца оборванного провода и зажал их в зубах. Связь возобновилась». Дядя Леня покачал головою: «Вряд ли. Контакты. Сместятся». Антон очень огорчился.

Приходил на бревна и Петя-партизан. Его все уважали: из брянских лесов он привез ящик гранат (ими глушил на озере рыбу) и — шел слух — много чего еще; Генка клялся, что партизанский сын Мишка показывал ему трофейный «Вальтер». Нас, говорил Петя, в деревнях

недолюбливали. После немцев кое-какие продукты еще оставались, партизанам же надо было отдавать все, подчистую — свои, защитники, и не спрячешь, знают, где искать. У нас один был, большой спец. Я, говорит, продотрядовец, еще во время продразверстки изымал, знаю, куда ховают... Поят в деревне партизаны, немцы придут — сожгут за это деревню. А там бабы, дети, с собой в лес их не брали. Почему? Чтоб не обременяться, не терять мобильность. Раз отбили группу евреев — тоже больше старики, женщины — так тоже с собой не взяли. Потом их всех постреляли, свои же.

— Как свои?..

— А очень просто. У карателей только офицеры были немцы. Остальные — наши: русские, хохлы, литва... Те, кого мы разбили, потом вернулись и наткнулись на евреев, которых мы бросили. И тоже не взяли — расстреляли тут же и даже не закопали.

— Чего ж все шли в партизаны? — интересовался Крысчат.

— Сам мало кто шел. Мобилизовывали — все равно как в Красную Армию... Много вранья про партизан.

— А про армию мало? — вмешивался Кувычко, навсегда обиженный на власть за то, что сначала уволили из вооруженных сил, а потом посадили его отца, кавалера трех георгиевских крестов, полученных в царской армии, каковой факт он преступно скрыл. — Ты много читал про заградотряды, про приказ 227?

Крысчат считал: приказ правильный, военная необходимость.

— Военная-о. енная! Потому что тебя не касалось! Сидел в своей железной дуре, сам черт не брат, куда хочу — туда ворочу! пэтээррами заградников не комплектовали. А пехота или наш брат, шофер? Только увидят — хохотальником в ихнюю сторону повернулся, тут же очередями, из пулеметов, сначала настильно, поверх, а не развернулся обратно — пеняй на себя... Хохотальник — радиатор, — пояснял Кувычко, видя, что Антон открыл рот, и догадывался верно; фронтовики сразу после войны вообще отличались большой сообразительностью; потом стали как все.

Петя-партизан рассказывал много такого, чего из фронтовиков не знал никто, и рассказывать не боялся. Как-то между прочим обмолвился, что на оккупированных территориях открылось много храмов. На другой день на бревна единственный раз пришел дед — узнать поподробнее.

В Смоленске при немцах снова открылся кафедральный собор, в котором до этого был антирелигиозный музей; в Клинцовском округе на Брянщине до войны не было уже ни одной действующей церкви, а за два года открыли около трех десятков. По воскресеньям по радио транслировали богослужения, выступали священники.

— Мы считали, все это — нацистское заигрыванье и пропаганда, а когда один поп выразил благодарность новой власти за восстановление своего храма, мы его повесили в церковной сторожке на потолочной балке... Я не вешал — у нас этим занимался один — то ли чоновец, то ли продотрядовец, его учитель из нашего отряда называл Самсон-палач. Он настаивал, чтоб повесить в алтаре, но наш командир, хоть и партийный, не разрешил.

Сын Пети Мишка тоже рассказывал кое-что, пока не появлялись мужики. Когда отец партизанил, он оставался в деревне. Возле школы стоит кучка немцев. На улице появляется красноармеец. В форме, со скаткой, за плечом винтовка. Идет, по сторонам не смотрит. Немецкие солдаты — ноль внимания. Из школы выходит офицер. Кричит что-то красноармейцу. Тот подходит, становится по стойке «смирно». Офицер что-то говорит своим, один солдат подходит, вешает на забор шмайссер, берет у красноармейца винтовку за ствол и — хрясь прикладом...

— По голове?

— ...об камень. Открывает подсумок, вываливает оттуда на землю патроны. Офицер машет рукой — иди, мол, куда шел. Он и пошел себе. Немецкий солдат берет свой шмайссер и...

— Та-та-та-та-та-та! — показывает Генка Меншиков, и мы съеживаемся.

— Да нет. Уходит к другим, в кучку.

— А наш?

— Пошел дальше. И не оглянулся.

— Куда ж он шел?

— Кто его знает. Можя, к другим, что в риге сидели. Сидели и сидели. А как немцы появились, стали выходить с полотенцами, с нижними рубашками на палках, а кто просто руки вверх.

О войне я читал все. Во время войны — газету «Правда» (вслух деду) и журнал «Крокодил», позже — все попавшие в Чебачинск книги, художественные и нет. Одно из первых воспоминаний — карикатура в «Крокодиле» после сталинградского разгрома. На фоне карты с кольцом окружения пригорюнившийся Гитлер поет: «Потеряла я колечко, а в колечке 22 дивизии». Фюрера было даже немножко жалко, хоть он был и гад. А в конце войны инвалид, собиравший в шапку медяки на базаре, пел еще более жалостную песню: «Печальный Гитлер в телефоне тихонько плачет и поет: „Я вам расскажу про фронт по благу. Русские на Запад к нам идут. Чувствую я близкую расплату — скоро шкуру с нас они сдерут“». Очень нравилось кино: девушка-свинарка разоблачает шпиона и одновременно лечит большую и симпатичную свиноматку.

Уже в школе отец подсовывал статьи о пионерах-героях, но их читать Антон не любил: он сомневался, что никого не выдаст, если ему, как пионеру Смирнову, станут отпиливать ножовкой правую руку, и очень от этого мучился.

...Американский психоаналитик, пытаясь выяснить детские комплексы Антона, страшно удивился, узнав, что больше всего ребенок страдал от подобной мысли. И сказал, что теперь понимает разницу между своим и русским народом — по крайней мере, в середине двадцатого века.

На всякий случай Антон учился писать и строгать левой. Начал он было и ходить босиком по снегу, чтобы натренироваться, если его будут гонять, как Зою Космодемьянскую, но бабка, увидев за сараем следы босых ног, пришла в ужас, как Робинзон, и, хотя Антон пытался отрицать принадлежность следов ему, пожаловалась родителям. А тут еще отец принес очерк о пионере-герое, который, чтобы не упустить на снежном поле немецкого генерала, разулся и генерала догнал. Мама попросила приносить очерки о взрослых героях.

Больше всех Антону понравился один летчик, настоящий герой, с необыкновенной фамилией: Гастелло. Другие герои носили фамилии какие-то слишком простые: Матросов, Ключков. Последняя была совсем никуда, хотя этот герой сказал слова, которые очень нравились отцу: «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва». Про летчика хотелось написать стихи с такими же красивыми словами. До этого Антон уже сочинял кое-что воинственное: «Раз полунощной порой, Проходя тропинкой, Парень вынул пистолет и взмахнул дубинкой». Но сейчас, чувствовал он, надо что-то другое. После заглавия «Отважный пилот Гастелло» дело пошло:

Что же там гудит в тумане?

Там пилот на эроплане

По фамилии Гастелло

Самолет ведет свой смело

Прямо к немцам, прямо к гадам,

Угостить своим снарядом.

После нескольких стихов, живописующих картину боя, сообщалось, что летчик направил «горящую машину прямо к вражью бензину». Продолжение не получалось, и остаться бы стихотворению среди незавершенных Антоновых сочинений в папке «Школьное», но Васька Гагин проболтался Клавдии Петровне. Она попросила Антона стихотворение прочесть и сказала, что оно вполне патриотическое, но нет концовки, и что Антон должен ее досочинить и выступить на вечере в день Красной Армии.

Концовка не давалась; завтра было уже выступать. Дед помочь отказался, сказав, что тема ему неблизка и вообще он сочинял только акафисты, да и то шестьдесят лет назад. Выручил отец. Достав свой «Паркер», он присел к подоконнику Антона, и через десять минут стихотворение было завершено:

Запылали языками пожаров цистерны врагов.  
Храбрый из храбрых Гастелло  
Погиб смертью верных родине сынов.

Антону особенно понравилось «языками пожаров». Клавдия Петровна сказала, что конец несколько в другом стиле и размере, но годится.

Много, много позже Антон прочтет, что на самом деле с Гастелло все обстояло не так: были гибель, самопожертвование, но не было «вражьего бензина» и огненного тарана в немецкую колонну.

Так, впрочем, получилось в конце концов почти со всеми героями, но об этом Антон узнал еще на бревнах. Как-то, в годовщину Победы, вечером, как следует выпив, все вышли посидеть-прохладиться. Оглотков рассказал, что Матросов вовсе не первым закрыл амбразуру: в ихнем полку сержант Семенко сделал это на два месяца раньше; Крысчат слышал, что амбразурщиков вообще было больше сотни. Гурий, воевавший в дивизии Панфилова, говорил, что из двадцати восьми героев несколько осталось в живых. Домой Антон бежал бегом — не потому, что опаздывал к ужину.

На столе стояли рюмки и кособокая бутылка, заткнутая кочерыжкой; сидели гости: Гройдо, шахматист-огородник Егорычев, это было хорошо — Антону не терпелось поделиться потрясающими сведеньями со всеми.

— Когда мне начинает казаться, — выслушав, дед повернулся к Егорычеву, — что эта власть уже ничем не сможет нас удивить, она всякий раз подбрасывает такое, что в нормальную голову не придет никогда. Какой будет вред, если опубликовать то, о чем рассказали эти солдаты? Народ бы только порадовался, что погибли не все двадцать восемь. Чему вы улыбаетесь?

— Вашей неистребимой неисторичности, Леонид Львович. Народу, с точки зрения власти, нужна не истина — нужен миф. А какой миф построишь на живых — хоть с «Варяга», хоть с разьезда... с того, где эти панфиловцы...

— Дубосеково, — быстро сказал Антон, уже не удивлявшийся, что дедовы друзья, все на свете знавшие, путают, где город Молотов, а где Киров, куда летала Раскова, не помнят имен папанинцев и челюскинцев.

— Да. Вы, зная историю христианства, его святых и мучеников, должны понимать это лучше меня.

— Народу надо, — засмеялся уже хорошо выпивший Гройдо, — заливать за шкуру сало, как говаривал на обсуждении проспекта «Истории гражданской войны» Климент Ефремович.

— «Климу Ворошилову письмо я написал, — забормотал Антон, но бормотом тихим: дед не любил советских стихов. — Товарищ Ворошилов, народный комиссар!..»

Дочитывая стихи до конца, он не уследил, как дошло до ворошиловских стрелков. Выяснилось, что Егорычев думает: это те, кто охраняет Ворошилова, как латышские стрелки — Ленина.

— Вы шутите! — кричал отец, тоже уже выпивший. — Это невероятно, чтобы мимо вас прошли все эти плакаты, огромные фанерные значки, лозунги, призывы, коллективные походы на стрельбища! Может, вы не слышали и благозвучного слова *Осоавиахим*?

Егорычев разводил руками.

На минутку заглянул еще один гость, майор в отставке, на фронте — сотрудник политотдела дивизии и переводчик, комиссованный по ранению еще в сорок третьем году. Он что-то писал о войне, но его не печатали; только раз в областной газете появился его материал о боях на Волоколамском шоссе, после чего республиканская газета опубликовала письмо какого-то подполковника, который, ссылаясь на Александра Бека и Баурджана Момыш Улы, именовал автора фальсификатором в майорских погонах. За общим столом майор не пил, хотя вообще был очень не прочь, однако предпочитал это делать с глазу на глаз с отцом (они в разное время учились на истфаке МГУ). Отец, очень интересуясь рассказами о войне, на бревна не ходил — Антон только потом понял: ему было бы неловко среди фронтовиков; его не взяли из-за глаз, испорченных на сварочных работах — без щитков — на строительстве московского метро. (Даже мама чувствовала какую-то вину и сказала как-то: тем, кто воевал, можно простить все.)

Антон, вычислив, когда майор с отцом выпьют по второй, приносил огурцов, пучок редиски с грядки и незаметно оставался. Майор не рассказывал про разные боевые эпизоды, как Кувычко или Крысчат, а говорил, что Гудериан использовал тактику Ганнибала, который сосредоточивал тяжелых боевых слонов для прорыва на одном участке. И о нашей армии говорил обо всей. Самым слабым местом была ее прославленная пехота. Трехлинейки образца девяносто третьего дробь тридцатого года очень надежны, но обладают низкой скорострельностью. Пехотинцев бросали в бой, не научив окапываться (про это говорил и Сумбаев), строить дерево-земляные точки. Даже саперы не умели возводить нормальные доты: в сорок первом году их делали с непомерно широкими амбразурами; если бы у немцев появился Матросов — провалился бы как в яму.

— Понастроили, как витрины в Амстердаме, в которых сидят проститутки! — вдруг закричал майор. — И это после финской войны, когда... — лицо майора задергалось.

— Воды! — бросил отец. — Холодной, из кадки.

Антон опрометью кинулся в сени. Так он узнал, почему майор не пьет на людях. Стучая зубами о край, майор опорожнил полковца. Потом глубоко вздохнул и продолжал с того самого места:

— ...когда на линии Маннергейма положили несколько дивизий. А почему? Потому, что была доктрина наступательной войны, в обороне — считалось — не будем.

Окруженный Берлин, полагал майор, штурмовать не следовало. Отец спорил, говорил что-то про политику и безоговорочную капитуляцию.

— Без боя бы капитулировали, и безоговорочно. Политика политикой, а полмиллиона жизней не вернешь.

За одно сведение Антон обиделся. Он обожал Покрышкина и Кожедуба, складывал вместе число сбитых ими самолетов. Оказалось, что какой-то немецкий ас один сбил вдвое больше, чем оба трижды героя вместе!

Студентом Антон уже сам задавал ему вопросы. Почему продолжают поднимать на щит Зою Космодемьянскую, которая пыталась поджечь какую-то конюшню? А о партизанах Игнатовых, изобретших не обнаруживаемые миноискателем деревяннокорпусные мины и подорвавших десятки поездов, не пишет никто? Конечно, Зоя погибла мученической смертью, но ведь и Игнатовы погибли.

— Ты мне напомнил своего деда с его вопросами тогда, у вас в доме, на годовщине Победы. Тот же тип мышления. Помнишь, что ответил тогда Егорычев?

— Помню.

— Вот и тебе ответ. Система построена на мифе. А миф требует единичности: один, как Бог, над всеми, ниже — идолы поменьше, но в каждой области — тоже по одному: Чапаев, Джамбул, Стаханов, Чкалов, Маяковский, Мичурин, умрет — заменим Лысенкой... А к Егорычеву надо прислушиваться — он очень давно выпал из системы и все это время думает.

— А Гройдо?

— И Гройдо. Так же давно. Но более редкий случай.

— Редкий — что давно или — что занимал высокое место в иерархии?

— И то и другое. Он говорил мне, что благословляет судьбу, вытолкнувшую оттуда его столь рано: давно лежал бы в лагерной яме или был советским вельможей, что еще отвратительней. Я не встречал никого — даже здесь, кто бы их так ненавидел. Иногда мне кажется, что подсознательно он жалеет, что не наверху.

Антон спрашивал про его книгу о войне, собирается ли опубликовать.

— Хотел. У меня большой материал по матросовцам до Матросова. Один случай даже в финскую войну. Но солдатам-свидетелям замполит, справившись, где полагалось, велел молчать, чтоб не подумали, что у нас плохо с боевой техникой, раз ложимся на амбразуры. В эту войну было уже другое указание... А тараны были и до Талалихина — у меня тоже много данных. Правда, большинство моих материалов основано на устных свидетельствах солдат, которых я опрашивал в Алма-Ате, Омске, в Карлаге, а после него уже здесь — Оглоткова, Крысцата, Гурия, да почти всех... До архивов мне уж не добраться.

— Вы сидели?

— Недолго. Меня взяли в ту же кампанию, что и вашу учительницу математики. Тебе не стали говорить, — лицо его омрачилось. — То, что я записал в лагере, удалось вынести — нас отпускали уже пачками — это из моих записей самое ценное, там говорили все.

Вскоре он умер. Его бумаги квартирная хозяйка отдала за банку соленых огурцов торговке Мане Делец на кульки.

На бревенных посиделках Антон запомнил его только один раз: сначала он расспрашивал Оглоткова все про тех же матросовцев, а потом сцепился с Кувычкой, который любил повторять, что всю войну, от Бреста до Берлина, провел на передовой. Майор говорил: все, кто заявляют, что воевали в боевых порядках три месяца в Сталинграде или месяц на Курской дуге, — врут. И прекрасно знают, что в части, ведущей непрерывные бои, можно находиться неделю, максимум — две. Потом ты или в госпитале, или — известно где. Если остался цел с месяц или больше — значит был во втором эшелоне. Да и часть через две-три недели отводят на переформирование.

Бывали на бревнах и одноразовые гости — заглянул ленинградец Гольдберг. Ему, хотя он и через два года после блокады доходил, дали срок, но из Карлага вскоре комиссовали, и он лечился в чебачинском тубсанатории. Срок он получил за язык: сказал, что в Смольном в блокаду ели ветчину и икру. Ему не поверили; когда он ушел, Петя-партизан сказал, что к евреям относится хорошо, а с одним даже дружил в отряде, но это — типичные еврейские штучки.

Когда я потом вспоминал рассказ ленинградца, он тоже не вызывал у меня особого доверия. Но в институте истории меня по распоряжению дирекции подключили к коллективному труду в



честь одного из юбилеев великой победы, хотя я был специалистом по XIX веку: книга шла на границу и требовалась в кратчайшие сроки. Я попросился в ленинградскую группу — прошел слух, что допустят к закрытым архивам. Допустили; мы читали документы с грифами «Секретно» и «Совершенно секретно»: отчеты о работе всех двадцати двух ленинградских кладбищ с цифрами — приблизительными — ежедневных захоронений, протоколы отделений милиции о случаях каннибализма. И — накладные на продукты, доставляемые в Смольный: шпроты, крабы, икра зернистая, икра лососевая, осетрина горячего копчения. Ни один из этих документов даже в пересказе включить в книгу не удалось. Впрочем, на Западе, видимо, кое-что знали. В музее обороны Ленинграда в спецфонде мы нашли вырезку из неуказанной газеты, где один американский писатель, единственный из западных литераторов побывавший в осажденном городе, рассказал о своих впечатлениях от обеда у первого секретаря ленинградского обкома. «Я не увидел отличий от обеда, которым меня угощали здесь два года тому назад. Та же икра в тарелках, та же желто-розовая лососина, отличная водка. Изменился только сам господин Жданов: он еще больше пополнил, хотя, как я узнал, каждый день играл в бункере в теннис».

На бревнах и пели: «На позиции девушка», «Бьется в тесной печурке огонь», «Синенький скромный платочек». Их любили все — и фронтовики, и Гройдо, и Егорычев. Правда, они не очень понятно спорили: Гройдо удивлялся, как «Землянку» мог написать *такой* поэт. Но Егорычев говорил, что в подобные годы народные песни пишут именно *такие* поэты. Но пели и песни, каких по радио Антон не слышал. Старшие братья Кувычки, воевавшие на Северном флоте, исполняли дуэтом: «Англичанин затянется русской махоркой, а русский матрос сигарету возьмет». Отец, услышав, как Антон, шкура мутовку, это мурлычет, заставил пропеть до конца: «И над рейдом протянутся дымки голубые: русский дымок, русский дымок и британский дымок». После чего сказал, чтобы Антон не вздумал спеть это в школе. На что тот находчиво ответил, что есть даже газета «Британский союзник», которую ты сам привез из Москвы. Была, сказал отец, а тот давний номер пора сжечь.

Анюта Кувычко, фронтовая медсестра по прозвищу Анка-пулеметчица, пела частушки. Начинала с понятных:

Обещался милый мой  
Сшить полусапожки,  
Обманул, подлец такой —  
Только смерил ножки.

Но в других вместо некоторых слов мычала «м-м-м-м», и все смеялись, а Антону было обидно.

С японской войны вернулся самый младший, пятый Кувычко, всем было интересно про косоглазых, на Востоке никто не воевал, тем более что он служил шофером при дивизионной газете и многое знал в *масштабе*. Антон как раз был в пионерлагере и приставал к Ваське Гагину, чтоб тот хоть что-нибудь передал из рассказов Кувычки. Но Васька запомнил только стихи дивизионного поэта, которые, став в позу, и прочел очень выразительно. Кончались они так:

И вырвав нож из рук японца,  
Его добил ножом его.

При последнем слове Васька щелкал языком и делал движение, которое военрук Корендясов рекомендовал в драмкружке старшеклассников при ремарке «Закалывается».

# Приобретенные признаки наследуются

На огороде и в саду дитятей Антон проводил с дедом целые дни. Высевали семена, сажали рассаду, вносили органические удобрения, по ходу дела дед осуждал увлечение неорганическими и предсказывал, что мир вернется к навозу — так и оказалось. Много лет спустя Антон прочел — уже некому было об этом рассказать, что в Англии возникло целое движение «натуралистов», отрицающих минеральные удобрения. Еще позже в какой-то газете он увидел идущего за плугом с симпатичной лошадкой пахаря, напомнивших ему левую часть картинки «Прежде и теперь» из «Календаря колхозника» (на правой был трактор). Подпись гласила: «В Англии создаются курсы для фермеров, которые отказываются от использования тракторов в сельском хозяйстве и возвращаются к „лошадиной силе“ в прямом смысле слова. На снимке: практические занятия на курсах фермеров». Деда это тоже бы не удивило, он всегда говорил: трактор слишком тяжел, нарушает структуру почвы, вот если б плуг один ходил по пашне

О структуре дед говорил часто, это красивое и полезное слово Антону очень нравилось, еще лучше было *структурирование*, которому помогали прекрасные животные — дождевые черви, в хорошей почве их может быть несколько сот пудов на гектар, дед объяснял, почему они выползают после дождя на дорожки. Трудно было потом удержаться, чтобы не написать про это стихи. «Дождь прошел, струи его косые затопили дышащую слизь. Мраморные черви дождевые по дорожкам сада расползлись. Персть его безжизненно-нелепа, вялая покинутость чехла. Где Земли частицы слиплись слепо, там его дорога пролегла. Кольцевые мышцы совершенны, безупречен, как Линнея лист, дух структуры господинно-пленный...».

Идеи Костычева и Докучаева дед излагал девяти-десятилетнему, верил, что тот запомнит.

Формировали кроны деревьев и кустов, делали прививки, посыпали смородину табачной пылью (ядохимикатов дед, разумеется, не признавал).

Отдыхали под старой яблоней на сделанных из старых пней и узловатых ветвей креслах, очень удобных, дающих развязку членам, и разговаривали. Это Антон любил больше всего, это была компенсация рассказов на ночь, которые летом прекращались, ибо дед дотемна копался на огороде, а ребенка по швейцарской системе укладывали спать рано. Антон рос, разговоры продолжались. Темы задавал он сам.

— Расскажи про семинарию.

Дед рассказывал про Виленскую духовную семинарию.

— Учителя у нас были хорошие. Отец Панкратий Добронравов, впоследствии он стал епископом, Евфимий Федорович Карский, будущий академик, — он, собственно, был преподавателем русского языка и словесности второй виленской гимназии, а у нас совместительствовал, вел церковнославянский язык.

Старшие семинаристы назывались философами, средние — риторамы.

— Как у Помяловского? — Антон уже прочел только что полученные в приложениях к «Огоньку» «Очерки бурсы».

— Что описывает Помяловский — ничего такого не было. У него бандиты какие-то, а не бурсаки!

Диспуты у нас на темы догматические (дед косился на Антона, но слова не объяснял) вели философы и, пожалуй, риторы. Как преобразится мир после Страшного суда? Что есть вера? Бог создал мир сразу или по частям? Мы, синтаксисты, младшие, больше любили разговоры.

— Болтать между собой?

— Нет, так называлось нечто вроде театральных представлений, на которые приходила и

посторонняя публика — актовая зала иногда не могла вместить всех. Какие разговоры? Между частями речи: каждая утверждает, что она в языке самая важная. Или дьячок Филогел защищает новое время, а Харофил — старое, когда все семинаристы знали, что около земли стоит «иже», буква, а не какая-то атмосфера, или умели не думая сказать, в каком псалме ни разу не встречается литера «буки».

— Дед, а зачем это знать, про «буки»?

— Знание, кроме прикладного, существует не для чего, а для самого себя.

— А какие вопросы были на экзаменах?

— Разные... Например: в чем состояла ересь Ария? Или: каковы различительные черты каждого из четырех Евангелий? Или попроще: изложить любое из Посланий Павловых. Но это для нас было просто, а какого-нибудь гимназиста спроси — станет в тупик. Разве он знал Евангелие? — дед начинал кому-то возражать, волноваться, этот вопрос и сейчас, через полвека, трогал его. — Гимназист знал не Евангелие, а священную историю Нового Завета сочинения священника Рудакова. Да и то нетвердо. Наговорит законоучителю всякой чепухи, а тот только: «Усвоили невразумительно», и ставит удовлетворительный балл.

Но это мне было уже неинтересно, я спешил сменить тему, спрашивал, как развлекались семинаристы.

— Как все отроки. Играли в чехарду, в карты, хотя они строго запрещались. Пели что? Светское не одобрялось. Но мы находили способ. Пели, — дед начинал на церковный распев, — такое: «Отец благочинный купил нож перочинный... А хор: „У-ди-ви-тель-но!“ ...и тулуп овчинный... Хор: „Во-схи-ти-те-льно!“»... Пели вечерами, но внизу сидел сторож, он все доносил по начальству. А тут — чисто: разучиваем литургию на глас шестый или седьмой... Ну а паче чаяния, коли все ж, слышим, подымается по лестнице наш Аргус, начинаем: «Et tonat, et donat» — старый бурсацкий перевод малороссийской песни: «И шуме, и греме, дрибен дощик иде, а кто мени молодую тай до дому доведе...» Сторож послушает-послушает: латынь! значит, все в порядке...

Но разговоры незаметно — видимо, влиял сад-огород — опять перетекали в естественнонаучную сферу.

В шестом классе Антон объявил, что будет агрономом, как дед, или биологом. Ему очень нравились яблоки и груши, нарисованные на цветных вкладках учебника ботаники. Особенно аппетитно выглядела Бере зимняя Мичурина; при всяком удобном случае Антон спрашивал про этот сорт, но хотя насельники Чебачинска раньше жили почти во всех городах страны, никто такой фрукт почему-то не едал и в магазинах, на рынках не видал — как, впрочем, и другие мичуринские сорта.

Раз, придя из школы, Антон застал у деда какого-то старичка. Он приехал к дочери из Тамбова, когда после сессии ВАСХНИЛ был сначала лишен в институте кафедры как пригревший вейсманистов-морганистов, а затем вообще уволен. Узнав, что тамбовец не раз бывал в Мичуринске, Антон, не положив портфеля, вцепился в него насчет Бере зимней Мичурина. Профессор серьезно ответил, что, возможно, раньше Бере и была хорошим сортом, но когда он после войны приехал в те края, есть ее было невозможно: твердая, несладкая, вяжет язык — видимо, к ней вернулись признаки ее дикого предка. Это произошло и с другими сортами Мичурина.

Антон как раз одолел пятьдесят страниц первого тома зеленого собрания сочинений Мичурина, которым деда премировали за хорошую работу в Батмашинском лесотехникуме, и параллельно читал брошюру общества «Знание» «И. В. Мичурин — великий преобразователь природы». Захлебываясь, Антон процитировал наизусть приведенную там цитату из какой-то довоенной газеты: «С юношеским задором работает старик Мичурин. Он вывел красящие сорта

вишни и смородины, крыжовник, больше похожий на виноград. Новые мысли вспыхивают в мозгу великого садовода. Он спит и видит вишню без косточек, которую нужно создать по заказу советской промышленности». Великий селекционер вывел 300 сортов!

Эту цифру Антон уже раньше, тоже с захлебом, называл деду (сам дед советскую научно-популярную литературу читать не любил: пока доберешься до чего-нибудь осмысленного, занозишь всю душу, продираясь сквозь дурнолесье цитат из вождей). Но тот воспринял ее скептически.

— Дед, ты опять ничему не веришь! — огорчился Антон (огорчение усиливалось оттого, что дед в своей древней шляпе очень походил на брошюрский портрет Мичурина). — Ведь это же напечатано в брошюре!

— А отчего я должен верить именно в данном случае? Чем он отличается, например, от полной липы об урожаях зерновых?

— А Шыганак Берсиев?

Антон хватал учебник казахского языка и, старательно, как учил Казбек Мустафьевич, выговаривая задненебные и фрикативные, читал, а потом переводил текст, где сообщалось, что казахский рисовод вырастил урожай в 200 центнеров с гектара.

— Ну? — с торжеством орал он. — Уж тут-то — правда! Это же здесь, в Казахстане!

— 1200 пудов... — задумчиво говорил дед. — Ни одна зерновая культура в мире до сих пор не давала такой массы на гектар... Смахивает на рекорд Стаханова. Хорошо б проверить, да где уж.

— Ему же героя дали!

Дед только поднял брови.

— И не только 300 сортов! — продолжал волноваться Антон. — Он создал материалистическое учение!

— Чтобы создать учение, — серьезно сказал профессор, — нужны такие, как Вавилов, не знаю, знакомо ли тебе это великое имя, — он почему-то опустил голову. — Нужен дар систематизатора, спавленный с другим, редчайшим даром — обобщения. А собрание сочинений Мичурина — это что? Не сведенные воедино многолетние наблюдения. Я думаю, он был талантливый и честный садовод-селекционер и в том, что лысенковцы после его смерти сделали из него знамя, неповинен. Хотя... Один из сортов его яблок назывался — пасхальное. Натыкаюсь случайно на фото в брошюре вроде твоей — именуется уже: антипасхальное... Мне кажется, в подымании его на щит Лысенкой важную роль сыграло то, что Мичурин тоже был самоучка — мы университетов не кончали. Как и Лепешинская: фельдшер по образованию, а опровергла основные положения клеточной теории!

Потом они заговорили про кок-сагыз, и я ушел: растение это я ненавидел. На кок-сагыз нас гоняли с третьего класса. Считалось, что этот маленький кустик-каучуконос изменит нашу экономику, дав стране отечественный каучук. Мы сламывали стебель, разглядывая и пробуя на язык выступившую каплю горького молока, которой предстояло выполнить такую задачу. Наша же была проще: ручной сбор каучуконоса. Кок-сагыз был низкоросл, плантации густо зарастали подорожником, осотом, одуванчиками, его трудно было отыскать, корень у него был трематодный, длинный, сочные кустики ломались в руках, белый клейкий сок, смешиваясь с землей, образовывал липкую холодную грязь. Горы облепленных этой черной с беловатыми пятнами грязью каучуконосов гнили потом возле силосных ям в колхозе; представить, что такое может куда-то сгодиться, было невозможно. Но так обстояло дело у нас — у нас вообще все, что касалось сельского хозяйства, было плохо. Но где-то колосилась замечательная лысенковская ветвистая пшеница, шумели молодые леса, посаженные гнездовым способом.

В девятом классе Антон начал проходить «Основы дарвинизма». Эти основы преподавала

Елена Дмитриевна Гулько. Она только что окончила биофак Свердловского университета, хотя было ей уже под тридцать: ее исключили перед самой защитой диплома по генетике; восстановиться удалось только через пять лет; второй диплом она писала на другую тему: «Идеалистические основы и антинаучный характер вейсманизма-морганизма». На уроках она подробно рассказывала, как мичуринская биология отбросила реакционную выдумку — хромосомную теорию с ее мистическими генами, мифическими носителями наследственности, и еще более подробно, пол-урока, об опытах с горохом Менделя. В конце этого урока она вдруг замолчала, а потом стала говорить громко:

— Которые ничего не доказывают! Он был монах! Все это — идеализм и поповщина! В выдающихся работах академика Трофима Денисовича Лысенко, — заговорила она еще громче, — было показано! Главное — запомните: приобретенные — признаки — наследуются! — почти в крик повторяла она, стуча в такт указкой по столу. — На-сле-дуются!

Когда проходили Лысенко, голос Елены Дмитриевны вообще становился другим, менялась даже осанка, лицо шло красными пятнами; звонок заставал ее посреди фразы, чего никогда не бывало раньше. Мы не понимали причин ее волнения, но сидели тихо.

На одном уроке она продемонстрировала фотографию монумента, недавно установленного в городе Остроге: Лысенко сидит рядом со Сталиным, который смотрит на зажатый в своей руке снопок ветвистой пшеницы. Когда вождь умер и мы всей школой, без строя стояли в коридоре у репродуктора и слушали музыку, время от времени прерываемую голосом Левитана, Елена Дмитриевна вдруг захохотала, зарыдала, стала что-то выкрикивать, ее увели. Но это было позже, а пока мы изучали теорию и практику Лысенко. Изучали подробней, чем в учебнике, — и яровизацию, и внутрисортное скрещивание, и летние посевы люцерны, и превращение ольхи в березу, ржи — в василек.

Дед высказывался о Лысенке, но всегда очень кратко: невежда, шарлатан. Может, он плохо знал его теорию и не представлял успехов его практики? Я пересказал одну из лекций нашей учительницы. Что дед не со всем согласится, я предполагал. Но я не знал деда! Он впал в бешенство — это был тот единственный случай, который я потом мог вспомнить за всю жизнь. «Бред сивой кобылы», «безграмотная чушь», «мура собачья» — я и не представлял, что дед знает такие современные слова, как «мура».

— Про превращение сосны в ель или граба в лещину я как агроном, да и просто нормальный человек не буду и говорить. Но все другие его идеи, — дед постепенно успокаивался, — это обычное советское очковтирательство, только более наглое. Но хорошо: возьмем едва ли не единственную более или менее здравую — собственно, после нее он и пошел вверх — яровизацию. В нашем известном тебе колхозе ее применили. Прибавка была — четыре килограмма на га. А у Лысенки — центнер, шесть пудов! Конечно, «Двенадцатая годовщина октября» — ужасный колхоз, но зато у него какие черноземы. Нет, в прибавке не может быть такой огромной разницы.

Говорили о Лысенке до вечера, а на другой день Антон, отвечая на уроке, привел один из дедовых антилысенковских аргументов. Дулько его ответ — чего никогда не делала — тут же прервала.

— Это ты откуда взял? — спросила она нервно.

Антон замялся, но сказал про деда.

— А кто твой дедушка?

— Агроном.

— Я тебе пока не ставлю оценки. После урока подойди ко мне.

Елена Дмитриевна сказала, что хотела бы поговорить с дедушкой, а узнав, что ему семьдесят семь лет, добавила, что готова прийти сама, если дедушке трудно. Дед еще этим летом

ходил пешком за двадцать верст в Котуркуль и в тот же день к ночи возвращался, но Антон промолчал, не помня, чтоб он хоть раз к кому-нибудь пошел в гости — не стал даже смотреть дом, который после войны купили тетя Лариса и Василий Илларионович.

В субботу после уроков Елена Дмитриевна в сопровождении Антона появилась в доме. Дед встретил ее в своем знаменитом, сшитом еще до первой мировой войны бостоновом костюме, усы его были тщательно подстрижены.

— Рад познакомиться с коллегой, тем более с такой очаровательной дамою, — дед пожал учительнице руку, при этом низко наклонившись; она руку испуганно отдернула.

— Я пришла поговорить о вашем внуке, — сказала она тоном, показывающим, что тут не до светских любезностей. — Точнее, о его судьбе, его будущем. Которое меня беспокоит.

— Чем же оно беспокоит Вас, глубокочтимая Елена Дмитриевна?

— Вы, Леонид Львович, получили агрономическое образование давно. В последние годы как в теории, так и в практике сельского хозяйства произошли большие перемены.

— Не могу компетентно судить о теории, но в практике — пожалуй. Урожайность по сравнению с довоенной упала на 18–25 пудов... на 3–4 центнера с га.

— Не знаю, откуда у вас такие цифры, — на лице учительницы появилось первое красное пятно, — в печати их не было. Но я не об этом. Антон, слыша в школе одно, а дома другое...

— Антон, — сказала появившаяся на пороге мама. — Дай дедушке поговорить с педагогом.

Антон со вздохом поднялся. Когда через полчаса мама куда-то ушла, он шагом Чингачгука подкрался к закрытой двери. За ней бушевали страсти. Говорили не о нем.

— Овсяг порождается пшеницей и овсом и сам порождает овес! — гремел дед. — Сосна превращается в ель, малиновка в кукушку! Неужели вы можете верить в эту чушь? Ведь вы биолог, Елена Дмитриевна, а не какой-нибудь пишущий о Лысенке Фиш («Фиша прочел!» — поразился Антон) и понимающий — простите за плохой каламбур — не больше рыбы в сухопутных растениях и животных. Кукушка не откладывает яиц. Что за детский лепет! В учебники вошло — еще знаменитый Дженнер наблюдал ее кладки.

— Но вы не можете отрицать, — нервно говорила Дулько, — теоретическую ценность учения о наследовании благоприобретенных признаков.

— Могу. Чистейшей воды ламаркизм — вы не хуже меня знаете, что все это давно опровергнуто.

— А новое учение о клетке Ольги Борисовны Лепешинской? А идеи Вильямса? Или вы с трудами этих ученых не знакомы?

— О Лепешинской квалифицированно как не цитолог судить не берусь, хотя чтоб клетка возникала не из клетки, а неизвестно из чего... Что же касается Вильямса — его я читал, а «Травопольную систему земледелия» даже преподавал. Там есть здравые идеи, но из нее тоже сделали панацею на все случаи жизни. Да и самое систему лысенковцы извратили. А что Вильямс пишет об урожайности? «Земля будет работать на социализм», средний урожай социалистических полей будет 100 центнеров с га — это же 600 пудов! А реально по Союзу до войны, когда он все это писал в «Правде», было 60 пудов с га — тогда еще публиковали цифры. А сейчас во многих районах — 30. Столько собирали, наверное, при Владимире Красное Солнышко, да, я думаю, и поболее!

Дед был прав. Для местного колхоза «Двенадцатая годовщина октября», где мы проработали все школьные годы, 50 пудов считалось — потолок. Антон однажды рассказал деду, как в романе «Кавалер золотой звезды» на собрании главный герой взял обязательство собрать 250 пудов с га, а какая-то председательша — 180, и ей никто не хлопал; дед очень смеялся.

Заскрипела калитка — вернулась мама. Антон с сожаленьем открался от двери. А когда минут через двадцать кто-то ее распахнул, дед говорил о летних посевах люцерны — видимо, и

эта директива Лысенко не годилась, а про люцерну дед все знал: роясь как-то в его тумбочке, Антон нашел пожелтевшую газету с дедовой статьей: «Сейте люцерну!» Жалко, он не прочитал статью, а попросить у деда было неудобно, потому что сам он про нее ничего не говорил, как и про свою статью «Пчелиное молочко» — продукт, видимо, потрясного вкуса. Учительница была уже в пальто, когда дед перешел к гнездовым посадкам деревьев — работники лесополос, не зная, что это высокая теория, отсутствие внутривидовой борьбы и просто видя, что одни саженцы угнетают другие, самостоятельно такие посадки разреживали.

От внутривидовой борьбы было рукой подать до Дарвина, стало ясно, что теперь все пропало совсем. Дело в том, что у деда было особое отношение к Дарвину, которого не разделял даже тамбовский профессор, ставший приятелем деда и во всем остальном проявлявший с ним удивительное единодушие. В подробностях дедову позицию Антон не знал — после одного спора друзей, при котором случайно присутствовал отец, он сказал деду: «Оставьте мальчику хоть Дарвина. Ему экзамены сдавать — и в школе и в институте».

— Я антилысенковец, но я дарвинист-эволюционист, — говорил профессор во время того спора. — Как можно не признавать заслуг такого великого ученого.

— Я признаю, — смиренно соглашался дед (Антон знал этот его тон — он был сигналом к высказыванию самых твердых убеждений деда). — Дарвин — крупная величина. Но абсолютно все сводить к естественному отбору и полному господству хаотических случайностей, из которых вдруг возникает изумительное по стройности замысла здание Природы (при этом слове дед должен был поднять руку над головою — и поднял), — извините.

— В вас говорит семинарист, с детства уверовавший в чудо и гармонию творения.

— Возможно, хотя и из семинаристов выходили Добролюбовы и Чернышевские. Главный наш гонитель Бога тоже учился в семинарии.

Но Елена Дмитриевна, было заметно, хотела поскорее уйти и тему о видах не поддержала. Когда Антон провожал учительницу до калитки, уже все ее лицо было в красных пятнах.

— На следующей неделе в школе, — сказала она, — комиссия роно. На уроке будет Энгельсина Савельевна, биолог из железнодорожной школы. Она всегда просит вызывать тех, у кого пятерки. У меня к тебе просьба: отвечай строго по учебнику. Договорились? — она скомкала косынку и быстро пошла по улице.

Дед тоже выглядел взволнованным — такое приходилось видеть нечасто.

— Я и так высказал ей, — возражал он на что-то маме, — половину того, что думаю про этого мракобеса, умолчал о главном: падение урожаев из-за все новых и новых его фокусов даже на десять пудов на га — а на самом деле больше — дает по стране не менее миллиарда пудов! Мерзавец не мелочится! До войны везде искали вредителей. Вот он, настоящий, не липовый!

Советскую прессу дед почти не читал, но сведения о состоянии сельского хозяйства и биологической науки как-то стекались к нему: писали бывшие слушатели его лекций в агрономическом институте в Екатеринославе, то с оказией присылал письмо в тридцать страниц на ремингтоне знакомый по Киевскому съезду зоологов 1930 года, то что-то целыми днями рассказывал проживший неделю за печкой хромой старик, которого только что выперли со знаменитой Харьковской опытной станции, той самой, куда, с удивлением узнал Антон, приглашали когда-то и деда после нескольких его статей о люцерне; недели две ходил обедать другой старик, беззубый, отбывший срок то ли в Карлаге, то ли на Балхаше, ученик зоопсихолога Вагнера, поразивший Антона заявлением, что самое великое произведение русской классической литературы — рассказ «Каштанка».

Антон запомнил много непонятных и звучных слов: номогенез, инцухт, гетерозиготный, полиаллельное. Фамилии упоминались тоже красивые: Шмальгаузен, Эмме, Бей-Биенко. Старики много спорили, но в одном сходились все: в ненависти к Лысенко. Антон тоже стал его



ненавидеть, и все больше. Потом, в Москве, когда он узнал про судьбу Вавилова и всей генетики и когда на выступлении Лысенко в МГУ увидел его безумные глаза и услышал скрипучий голос, ненависть выросла до отвращения, зубовного скрежета. Через много лет, когда все подписывали письма в высшие инстанции, а Антон считал, что толку с этого не будет никакого, единственное исключение он сделал, подписав письмо против народного академика, хотя по-прежнему не верил, что выйдет толк. Не было никого и никогда, кого Антон ненавидел бы сильнее.

# Вольф Мессинг, гр. Шереметьев, барон Унгерн и прочие

Отец был человеком благодарным и часто вспоминал своих благодетелей: Ивана Порфирьича Охлыстышева, учившего его слесарному делу, директоршу семипалатинской средней школы Екатерину Федоровну Салову, взявшую его на работу, несмотря на то, что он только что был исключен из комсомола (за разглашение на политинформации цифры пособия американского безработного, которая оказалась в несколько раз выше зарплаты токаря седьмого разряда), бывшего ученика деда сотрудника чебачинского НКВД Шаповалова, предупредившего, что у деда, если он не перестанет болтать, будут большие неприятности. Запомнил эти имена Антон именно от частого их упоминанья. Такое же благодарное отношение отец предполагал и у других. Уезжавшего учиться в МГУ Антона он снабдил рекомендательными письмами к своим довоенным друзьям.

Первым, к кому поехал Антон, был некто Ратинов, в свое время два месяца проживший у Стремоуховых на Пироговке, где он отсиживался от НКВД. Впрочем, даром времени он не терял и к концу второго месяца женился на соседке по коридору. Взяв ее фамилию (своя была — Драпов, и Антон, недавно узнавший, что ратин — тоже ткань, думал, что отец шутит), вышел из подполья, явился на швейную фабрику «Большевичка», назвал свою новую фамилию и сказал, что хочет в пошивочный цех, где как раз начали шить входящие в моду у аппарата ратиновые пальто. Это тоже походило на среднего качества юмор, однако Ратинова-Драпова тут же зачислили, и он сделал большую карьеру: в войну был замом главного интенданта 2-го Украинского фронта, одевал маршала Конева, а ныне занимал какой-то большой пост в Министерстве легкой промышленности. Жил он в высотном доме на Котельнической набережной.

Прочитав письмо, Ратинов с некоторым недоумением посмотрел на визитера.

— Тут Петруша пишет, чтобы я со своими связями в министерстве помог тебе купить зимнее пальто. Он хочет — что? чтоб я сходил в наш закрытый магазин с тобою? Но зачем? То, что там висит, тебе не по карману. Тебе сколько денег дали? Я так и предполагал. Вообще, или я что-то не понимаю, или твой отец. На дворе не тридцатые годы, про которые он в письме вспоминает... Пальто на тебя можно купить в любом универмаге. Где ГУМ, ЦУМ, ты, наверное, уже знаешь.

Из прочих рекомендательных писем Антон решил отнести только одно — к графу Шереметьеву.

В начале тридцатых граф уцелел потому, что при смене документов паспортистка вставила мягкий знак в его фамилию, и он везде говорил: «„Полтаву“ читали? Откройте том Пушкина: „И Шереметев благородный...“ А я — Шереметьев, из жителей подмосковной деревни Шереметьево, где собираются строить аэродром». Однако он все ж таки загремел, глупо, уже в тридцать девятом, когда, наоборот, некоторых выпускали. Впрочем, получил скромно — пятилетнюю ссылку, которую отбывал в Чебачинске. После истечения срока ему каким-то образом удалось — редкий случай — не получить минус десять (городов), а вернуться в Москву.

Бормоча «И Шереметев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин», Антон отыскал старый дом в Богословском переулке.

Когда Шереметьев представлялся, перед фамилией он делал паузу и издавал некоторое небольшое как бы мычанье, будто пропуская какое-то слово. Многие догадывались и, как в «Подростке», спрашивали: «Граф?» — на что граф снова неопределенно мычал.

По телефону отвечал его дядька. Он тоже делал паузу: «У аппарата Федор», и после маленького молчания: «Нилыч». Дядьке перевалило за восемьдесят, это был крепкий, свежий старик с длинными пушистыми седыми висками, очень похожими на баки. Он был сыном другого дядьки Шереметьевых, родившегося еще при крепостном праве и состоявшего при отце графа. Граф-сын называл своего дядьку Федор и на «ты». Будучи старше графа Григория Александровича лет на двадцать и находясь при нем с младенчества, Федор поехал за ним и в ссылку, хотя его как социально близкого никто сослать не собирался. В Чебачинске граф бедствовал, существуя только огородом, который они обрабатывали вместе с Федором, да небольшими денежными переводами, посылаемыми ему из Омска другом отца, бывшим белым офицером, сумевшим это скрыть и в новой жизни хорошо устроившимся — завскладами при гортопе.

В Москве Григорий Александрович существовал, как он острил, тоже переводами, переводя на язык родных осин со всех основных европейских языков, с каких требовалось в данный момент. «Я не брезглив, — говорил он, заворачивая, однако, нижнюю губу, — перевожу даже с польского». Жил он вполне безбедно; за столом неизменно подымал тост: за кормильца и поильца; таковыми оказывались то прогрессивный писатель Алан Силлитоу, то Луи Арагон, то Анна Зегерс. Подписывал он свои переводы так: «Гр. Шереметьев».

Антон привез ему приветы от своих родителей вместе с трехлитровой банкою соленых груздей — граф очень уважал их под водочку и говорил, что таких груздей нет больше нигде в мире. Пригласил бывать, и несколько раз Антон присутствовал у графа на приемах.

Федор надевал белые перчатки и расставлял потемневший старый сервиз с сеткой мелких трещин, устраивал на колесиках вилки и ножи — это был второй после бабкина стол, где Антон увидел такие колесики.

Антон Федор зауважал по чистой случайности. В первый свой визит опоздавший Антон попросил передать ему вон ту тройную менажницу. Как потом выяснилось, этот предмет только что был объектом обсуждения — никто не мог вспомнить, как он называется (Федор, несомненно, знал, но вмешиваться в барский застольный разговор не смел). Самый старый из гостей, бывший приват-доцент Санкт-Петербургского университета, уже успел выстроить целую теорию. Он заявил, что в последний раз видел эту деталь сервировки в ресторане Палкина в тринадцатом... нет, на год раньше, когда погиб «Титаник». А от долгого неупотребления атрофируются не только внешние органы, но и мозг. Так считал Ламарк, который, кстати, не так давно снова вошел в большую моду.

Гости были — какие-то старики, глухие и молчаливые. Справа от Антона оказалась седая дама с трясущейся головой в наколке со стеклярусом, ей время от времени сосед переводил на французский кое-что из разговоров — прожив сорок лет в Париже, она по-русски говорила плохо, и с годами все хуже. Съев свой пудинг, она быстро отрезала кусок пудинга на Антоновой тарелке и ловким движеньем при помощи ножа и вилки перенесла на свою. Антон подумал, что здесь так принято, и сделал вид, что ничего не произошло. Про визави Антона, с бородою сильно впрозелень (до того вечера Антон считал, что эпитет «зеленобородый» — метафорический), Шереметьев сказал, что он — писатель, правда, последняя его книга вышла у Сабашниковых в двадцать пятом году.

Однажды Антон увидел здесь знакомое лицо: князя Голенищева-Кутузова, который недавно вернулся из эмиграции, — однокашника графа то ли по кадетскому корпусу, то ли по какому-то пансиону. Рассказывали, что из-за редкости таких возвращений или уважения к фамилии князя сразу по приезду пригласили к зампреда Моссовета Суворову. Заместитель встал и, протянув руку, представился: «Суворов». Голенищев протянул свою и сказал: «Кутузов». Суворов побагровел, но референт что-то шепнул ему на ухо, тот успокоился и заулыбался.

Голенищев-Кутузов читал на филфаке спецкурс по Данте, на который ходили и историки, и философы. На первой лекции произошло небольшое недоразумение. Седой, красивый князь, выложив на кафедру огромный с золотым обрезом том *in folio*, оглядел битком набитую аудиторию и сказал что-то по-итальянски. Во фразе было имя Данте, студенты приветливо заулыбались. Он сказал еще несколько фраз по-итальянски. Через несколько минут у аудитории закралось подозренье: не собирается ли парижский профессор весь курс читать на языке «Божественной комедии»? Прошло еще несколько минут, он что-то спросил; сидевшие в первом ряду студенты и аспиранты-итальянисты закивали головами, лекция продолжалась. Аудитория зашумела. К кафедре, ступая, как по раскаленным углям, и взмахивая попеременно руками, чтобы показать, что он идет необыкновенно тихо, подкрался завкафедрой романо-германской филологии и что-то зашептал князю в большое ухо. Голенищев замолчал, посмотрел на зава, на слушателей и сказал по-русски, приятно грассируя: «Дамы и господа! Пгошу пгощения! Видимо, я невежно понял свою задачу. Я полагал, что буду выступать пред теми, кто в подлиннике читает великого флорентийца. И даже несколько удивился, — он изящно-округлым манием руки обвел многочисленную аудиторию. — Но если будет угодно, я готов читать на родном языке».

И стал; но прочитав одну-две терцины, еще несколько фраз, видимо, разогнавшись, произносил по-итальянски.

О языках у Шереметьева говорили часто: многие из присутствующих преподавали — кто французский, кто английский, кто немецкий. Об уровне знания языков в новейшее время мненья граф Шереметьев был невысокого; позже, в 60-е годы, он говорил Антону, что за ощущение живой плоти даже самого распространенного, английского языка ценит только: среди писателей — Набокова, среди переводчиков — Суходрева, а среди филологов — профессора Аничкова.

До войны Шереметьев преподавал в какой-то шпионской школе под Москвой.

— Любопытно узнать, каковы были эти ваши ученички? — поинтересовался один из гостей, бывший (здесь бывшие были все) старший инспектор Второй московской гимназии Акакий Акакиевич — при его имени Антон всякий раз вздрагивал. — Усердные или не очень? Вы их встречали потом?

— Где ж я их мог встречать, милый Акакий Акакиевич, — развел руками граф. — На Унтер-ден-Линден?

Все вежливо заулыбались, а старуха со стеклярусом сказала восхищенно: «О, это прекрасная улица! *C'est la belle rue!*»

— Впрочем, об одном все наверняка слышали. Это — знаменитый Кузнецов, Герой Советского Союза, застреливший — кажется, в 43-м году — имперского министра финансов генерала Геля, главного судью генерала Функа и кого-то еще из гитлеровских бонз, раскрывший, что ставка Гитлера — Вольфшанце находится под Винницей.

— Пауль Зиберт? — восторженно воскликнул Антон, читавший все о партизанах и разведчиках; Кузнецов был его кумиром. Было непостижимо, как в уральском городе обычный инженер смог так изучить язык, бытовую культуру, немецкий военный обиход, что свободно вращался в кругу офицеров третьего рейха и не попался. — Но как же?.. Ведь он, как известно, работал инженером на Уралмаше, был призван в армию, ушел в партизаны...

— Не знаю, кому это известно, но он учился у меня в разведшколе — первый год. А потом — абшид, перешел, как все, в *Notgruppe*, повышенную, это уже в другом месте, которую вел туземец. Потом, сколько я знаю, его заслали лет на пять в Германию.

— А туземец — это кто?

— Наш жаргон. Означает: носитель языка. Этот преподаватель был немецкий коммунист, потом его, понятно, расстреляли. Меня, собственно, из-за него и выслали — за связь с иностранцем. Правда, у меня еще до этого была провинность, но тогда обошлось.

Про ту провинность Антон уже знал: во время пушкинского юбилея 37-го года в речи на каких-то торжествах в институте иностранных языков Шереметьев сказал, что Пушкин испытал влияние Байрона.

— Но вы же с этим немцем всего лишь преподавали вместе, одна кафедра, да ведь...

— От жителя Чебачинска, Антон Петрович, не ожидал, извините, голубчик, таких наивных вопросов.

Антон замолчал. Вслед за капитаном Гастелло, героями-панфиловцами, рядовым Матросовым рухнула последняя красивая легенда — простой уральский инженер оказался профессиональным разведчиком, стажировавшимся в Германии.

Гораздо больше, чем по отцовским друзьям, Антон любил ходить по отцовским местам, о которых слышал столько раз, что, казалось, он уже здесь бывал: по Усачевке, скверу на Пироговке, вдоль стены Новодевичьего монастыря. На Новодевичьем кладбище были похоронены дед с бабкой по отцовской линии. Но когда перед войной дядя как-то собрались посетить могилы, на их месте они увидели ровную заасфальтированную площадку. В конторе возмущенным сыновьям показали затертый номер «Вечерней Москвы», где в уголке было несколько петитных строчек о реконструкции кладбища, в связи с чем родственников таких-то участков просят в месячный срок и т. д. Но дядьям газета на глаза не попала: Василий Иванович был уже в лагере под Магаданом, Иван Иванович, отовсюду уволенный, обивал пороги в поисках работы, Алексей Иванович, специалист по горным машинам, уехал от греха подальше куда-то на шахты, а отец Антона — в Казахстан.

Перекусить Антон заходил в закусочную на углу Дзержинской, где бутерброды по-прежнему за жетоны выдавали автоматы. За хлебом он как-то специально пошел на Тверскую, про которую отец забыл сказать, что она теперь именуется улицей Горького, но булочная Филиппова, видимо, называлась по-старому, ее сразу показали. Антон робко спросил французскую булку.

— Опоздали, молодой человек, — сказал седой приказчик, — лет на пять! Французских булок больше нет.

— Вообще?

— Вообще где-то, — махнул рукой куда-то очень вдаль продавец, — конечно, есть. Но у нас они теперь — *городские*. Пожалуйста, 70 копеек в кассу!

По-старому назывался и гастроном Елисеева, там тоже до сих пор работал старый приказчик, еще хозяйский, очень не любивший нынешних дамочек. Одна из них попросила его нарезать рокфор.

— Рокфор в жизни не резал, мадам! — презрительно сказал он, сначала с низким поклоном, а потом гордо вздернув голову, протягивая сыр, туго запеленутый в пергаментную бумагу так, как это умели делать только приказчики Елисеева.

Когда вышло послабление и в Москву стали приезжать эмигранты, приехал и старик Елисеев. Зашел в свой магазин, увидел своего приказчика, они долго обнимались и плакали. Собрался народ, стали спрашивать, как Елисееву показался магазин. Бывший хозяин хвалил все:

— Икра хорошая, как и раньше. Баранина тоже. Правда, мы мясо продавали только парное, но и теперешнее ничего, ле'дники сейчас морозят хорошо.

Ветчину он даже попробовал и нашел пристойной. Правда, удивился, что почему-то мало сортов; в его магазине было не три сорта, а тринадцать — присутствующие затихли, пытаясь представить себе остальные десять, но гастрономщик охотно назвал их. К сожалению, до рассказчика история прошла через много рук, и из названий дошло только три: окорок лифляндский, ветчина краковская и фаршированная фисташками; Елисеев особенно подчеркивал красоту фисташковых орешков на срезе, но магазинные и последующие слушатели,

орешков этих в жизни не видевши, вряд ли эту красоту оценили.

Отцовским Антон считал и немое кино, с детства зная содержание и «Закройщика из Торжка», и «Праздника святого Иоргена», и «Папиросницы от Моссельпрома»; в Кинотеатре повторного фильма он вскоре все эти ленты и пересмотрел. Несмотря на блистательную игру Ильинского, разочарование было сильным, хотя Антон и боялся себе в этом признаться. Это разочарование сопровождало его и когда он увидел классические фильмы Чаплина — трюки напоминали цирк, а ожидалось что-то совсем другое.

Бывал в доме Фалька на Кропоткинской, куда вдова пускала по воскресеньям; три раза ходил на выставку Павла Кузнецова, потрясенный, написал о нем статью в курсовую газету.

Выстаивали огромные очереди на выставку только что вернувшегося из Южной Америки Эрзи, который казался гениальным. Рассказывали, что когда его водили по Москве и спросили, в частности, как он оценивает недавно водруженный памятник Юрию Долгорукому, Эрзя сказал: «Как сумели, так и сделали».

Чуть не через день Антон бегал в консерваторию, благо она находилась в полуверсте от истфака. Во МХАТе успел посмотреть знаменитые «Три сестры» в постановке Немировича-Данченко сорокового года и почти в том же, хоть и постаревшем, составе; был от этого спектакля странный, больше не повторившийся эффект: его мизансцены стояли потом перед глазами всю жизнь. Приезжала «Комеди Франсез», Лоуренс Оливье играл в «Гамлете». От всего этого Антон находился в постоянной эйфории — впрочем, и коренные москвичи тоже: и Оливье, и Питера Брука они видели впервые.

Все было новым, все начиналось, во все верилось.

Деньги родители присылали — немного, но регулярно; по расчетам отца, на жизнь должно было хватать. Но львиная доля уходила на консерваторию, театр, книги. Конечно, в отчетах отцу славно было небрежно отметить: купил рубашку, ботинки, но ложь бы обнаружилась, поэтому приходилось писать про покупку ваксы, мыла, зубной пасты. Как всякое мелкое вранье, это забывалось, и в следующем письме Антон снова писал про гуталин и пасту. «Письмо, где ты упоминаешь, что в третий раз за месяц купил пасту, — отвечал отец, — получили. И сколько же ее уходит на зубы твои лошадиные?»

Надо было изыскивать дополнительные источники дохода. Ночная разгрузка вагонов не подошла. После нее бывший морячок Коля Сядристый на лекциях сидел как ни в чем не бывало, Антон же засыпал. Помог Сэмэн Копыто. Не поступив, он родителям написал, что в МГУ учится, продолжал нелегально жить в общежитии и про приработки знал все. Сэмэнкопыто устроил Антона в институт психологии в качестве подопытного. Это была редкая удача: институт находился на задах университета, за час платили десять рублей (стипендия составляла двести девяносто), и вместо лекции по истории КПСС можно было получить двадцать рублей.

Интересны были и сами опыты: запомнить, что сможешь, из комбинации зажженных лампочек, а потом воспроизводить это через день, через три, через две недели, через месяц. Можно было заодно узнать свойства своей памяти. У Антона значительно лучше оказалась краткосрочная память. Это ему сильно помогало, когда он по вечерам стал записывать свои случайные или постоянные разговоры с Тарле, Лосевым, Арсением Тарковским, Крученыхом, Зайончковским.

Проводились и другие опыты — сенсорные. В темной комнате надо было полчаса адаптироваться, а потом реагировать на появляющуюся на экране светящуюся точку. Васька Весовщиков, которого Антон тоже привлек к опытам, рассказывал в общежитии:

— Сидим в коридоре. Подходит красивая аспирантка, радостно улыбается, берет Антона за ручку и уводит в комнату. Закрывается железная дверь, лязгают засовы. Слышно, как запирают и вторую дверь. Зажигается красное табло: не входить! 70 %, 80 %, 100 % — абсолютная темнота,

значит. Проходит час. Табло гаснет. Лязгают засовы, обе двери отворяются. Антон и аспирантка выходят — очень довольные.

Васька делал многозначительную паузу:

— А диван, на котором вы... адаптируетесь, черный? Для лучшего светопоглощения?

Аспирантку звали Виктория, было ей под тридцать, и она, как Антонова учительница биологии Гулько, писала уже вторую диссертацию — первую, почти законченную, пришлось бросить: при обсуждении представленного на кафедру варианта там нашли влияние бихевиоризма, фрейдизма и элементы мистики. Антон не знал, избавилась ли она от этих элементов в той диссертации, которую писала сейчас, экспериментируя на нем, но всем тем, что вскоре стали именовать парапсихологией, Виктория интересовалась пристально — это Антон установил во время первой же, еще тонной, адаптации на черном диване (он действительно был, как антрацит), когда она обмолвилась о Вольфе Мессинге.

Об этом гипнотизере, без труда читающем мысли, Антон все детство слышал от отца, который бывал на его сеансах в Москве, и от Василия Илларионовича, видевшего его психологические опыты в Кисловодске. Рассказы были фантастичны. Поэтому, когда появилась афиша, что Вольф Мессинг будет выступать в клубе МГУ, Антон с утра стоял у кассы.

На сеансе все было так, как рассказывали, еще и похлеще. Мессинг вынул из внутреннего кармана добровольца колоду карт, которую по мысленному желанию того разложил на столе в сложном порядке: верхний ряд — все валеты, второй и третий ряды — карты с шестерки по десятку трэф и пик, четвертый ряд — дама, король, туз бубен; продиктовал расположение фигур на каждой из половинок картонной шахматной доски, спрятанной студентами под креслами в разных концах зрительного зала, и сделал несколько ходов староиндийской защиты (ассистентка сказала, что в шахматы играть он не умеет). Когда не мог с ходу угадать мысль, сердито покрикивал на испытуемого: «Думайте о вашем предмете! А я вам говорю — вы не думаете! Думайте!» Глаза артиста лихорадочно блестели, пот крупными градинами катился со лба, воротничок сорочки намок.

Виктория видела Вольфа Мессинга не только на эстраде, поэтому Антон так и прилип к ней с просьбами про него рассказать, и она обещала, если Антон будет во время опытов вести себя хорошо. Антон постепенно понял, что значит вести себя хорошо, и Виктория рассказала ему все, что знала о великом гипнотизере, факты и легенды. Как он, когда еще были разрешены публичные сеансы гипноза, внушал пяти-шести рядам, что началось наводнение, дамы подбирали юбки и вскакивали на кресла; как, вызванный на Лубянку, он прошел туда без пропуска, потряся вызвавшего, и так же вышел обратно, хотя тот специально предупредил охрану; как у какого-то контуженного немого майора прочитал мысли о том, где он, попав в окружение, зарыл ценности и деньги смоленского банка; как увидев свою знакомую, сопровождавшую из загса новобрачных, сказал ей потом, что те проживут вместе только пять месяцев, — так и оказалось.

Но самым большим достижением великого экстрасенса она считала знаменитое заседание в том же институте психологии во время борьбы с космополитизмом. Вольф Мессинг для кампании подходил лучше не придумаешь: полунемец или полуполяк, но уж точно полуеврей, пропагандист мистики и идеализма. Институт получил задание: ознакомиться с эстрадными программами т. Мессинга и дать заключение об их соответствии установкам советской материалистической психологии и физиологии.

Точно в назначенный час члены ученых советов институтов психологии и философии АН СССР, а также приглашенные из МГУ и соседствующего с МГУ мединститута собрались в роскошном беломраморном институтском зале. В торце длинного, во всю комнату, стола, покрытого тяжелой зеленой скатертью, сидел патриарх отечественной психологии академик Н.

Ты, Антон, сказала Виктория, несомненно слышал его имя, но я не хочу его называть.

Старинные часы пробили четверть; Вольф Мессинг опаздывал; председательствующий с беспокойством поглядывал на дверь. Но вот ее массивные створки стали медленно приоткрываться, и в притвор просунулось мясистое, вытянутое вперед лицо. «Какой неприятный, — подумал председатель. — Он похож на крысу». — «Почему на крысу?» — сказал вошедший, протянув руку к председателю. Это был Вольф Мессинг, и то были его первые слова. Председатель открыл рот, но тут же закрыл. Ученый секретарь института повернулся к вошедшему, привстал и тоже хотел что-то сказать, но Мессинг, не опуская указующей руки, а только поведя ею в его сторону, упредил: «Не беспокойтесь. Вы подумали, что заняли мое место. Но я не в обиде». Ученый секретарь сначала застыл, а потом суетливо кинулся собирать бумаги. Мессинг сел на освободившееся место, и никто не успел еще промолвить слова, как он снова поднял руку и, указывая на основного докладчика (как узнал, что тот — основной?), сказал:

— Вы хотите начать с того, что материалистическая нейрофизиология и психология не признает передачи мыслей на расстоянии, что еще великий Павлов говорил...

Воцарилась мертвая тишина, был слышен только хриловатый голос Мессинга, излагавшего инвективы докладчика.

— А вы желаете возразить, — указал Мессинг, не поворачиваясь, большим пальцем через плечо на психолога из Академии педнаук, ученика Выготского, после смерти учителя вот уже четверть века его разоблачавшего, — вы хотите возразить, что если мы примем постулат возможности существования подобной субстанции — носителя этой психической энергетики, и что хотя некоторые философии, например, индийская... Нет, я так не думаю, вы не правы, — перебил он себя сам, повернувшись в другую сторону и протянув руку к креслу, в котором еле виден был сухонький старичок, ученик Ухтомского. — Я хочу только уточнить...

Осталось незамеченным, когда Вольф Мессинг встал и отошел от стола, оказавшись в пустом пространстве у стены, как бы на эстраде. Но все вдруг увидели, что он в черном дивном смокинге (сшитом во Львове Мовшовичем, одевавшим самого Пилсудского), кипенно-белой сорочке, галстук-бабочке и глянцево сверкающих туфлях. Никто не произнес ни слова, все как замороженные только поворачивали головы к очередному немому оппоненту Мессинга, речь которого, будто читая лежащий перед глазами текст, пересказывал артист.

Никто не заметил и того, как пробило полчаса, — все слушали только энергичный, но одновременно какой-то странно-усыпляющий голос гипнотизера. Председатель опомнился, только когда пробило без четверти.

— Кто из членов ученого совета или из присутствующих еще хотел бы выступить? — вяло промычал он.

И почему-то никого не удивила эта обычная процедурная формулировка, хотя в данном случае была совершенно неуместна, ибо ни из членов ученого совета, ни из вообще присутствующих никто не сказал ни единого слова. И все только молча закивали, когда председатель сказал, что нужно принять резолюцию.

И резолюция была вынесена! Это был, видимо, единственный в те годы случай, когда собравшийся по поводу некоего лица ареопаг вынес положительную относительно этого лица резолюцию. Она была краткой и гласила, что выступления «Психологические опыты» артиста мосэстрады такого-то могут быть продолжены, ибо не противоречат материалистической психологии, необходимо только, чтобы перед началом ведущий или ассистент делал вступительное слово, текст которого будет составлен специалистами. (Антон застал такие выступления артиста: перед каждым какая-то дама минут десять что-то жевала про материалистическую советскую науку, Сеченова и Павлова). Виктория сама по просьбе ученого



секретаря бегала в машбюро, а потом организовывала гербовую печать. Позже она не раз присутствовала на сеансах Мессинга и говорила, что ни после какого не видела его таким измученным — видимо, слишком многое было поставлено на карту.

Второй случай неэстрального общения с парапсихологом у Виктории был совсем недавно, год или два назад. Она возвращалась от своих друзей в Комарово, под Ленинградом. Был уже белый день, в вагоне электрички у окна сидел только один пассажир, не узнать которого было невозможно. Виктория вошла и, сев в противоположный конец вагона, сконцентрировалась на затылке артиста и стала посылать ему сигналы: «Поверните голову к окну. Поверните голову к окну». Или: «Оглянитесь. Вы меня видели в институте психологии. Оглянитесь». Мессинг не оглянулся и головы не повернул. Приехали. Мессинг вышел в тамбур. Виктория прошла через вагон и встала за его спиной. По-прежнему не оглядываясь, Вольф Мессинг сказал ровным голосом: «Вы напрасно напомнили мне про институт психологии. Это был самый тяжелый день и самый трудный сеанс в моей жизни. А вам, девушка, я бы советовал бросить эти игры. Это тяжелый крест — так считал и Фрейд, о котором вы только что думали, — я разговаривал с ним два года. Вы молодая и красивая. Все это не принесет вам счастья». И, не оглянувшись, сошел на платформу.

Рассказывая, Виктория стремительно расхаживала по комнате за двумя железными дверьми, показывая, кто, где и куда подошел; с копной волос а la Бабетта, в черной короткой юбке и сером тонком свитере под горло она была чудо как хороша.

Антону страшно хотелось взволновать Викторию — чтобы она так же красиво-нервно ходила по комнате — какой-нибудь подобной историей.

У него возник комплекс. Уже окончив университет, он все еще мечтал найти историю, достойную рассказа Виктории. Историй он за это время узнал много. Но у всех был один недостаток: они были не документированы. Где зафиксировано, что экстрасенс X предсказал появление пенициллина, а парапсихолог Y угадал дату запуска первого спутника? Таких апокрифов, объяснял Антон доброхотам, исправно поставлявшим ему подобные сообщения, можно сочинить сколько угодно.

Но наконец удача улыбнулась ему. В одном из двух польских журналов, «Пшекруй» или «Кобета и жиче», которые Антон постоянно читал и даже попеременно выписывал и которые ощущались как окна в Европу, он прочел статью об удивительном предсказании.

Во время гражданской войны в соединение под командованием прибалтийского барона Унгерна, которое действовало близ монгольской границы и в самой Монголии, прибыл с целью написать о сибирской Белой армии известный польский журналист, которого Антон, почему-то тут же забыв его имя, стал называть Сяндовским. Вскоре журналист узнал, что совсем недалеко, всего в полутора днях верхоконного хода, в небольшом монгольском буддийском монастыре находится в эти дни лама Джелубу. Упустить такую возможность было б непростительно, и Сяндовский предложил барону Унгерну к ламе съездить.

В монастыре, когда они представились, их без проволочек провели к ламе. По дороге служитель, буддийский монах, спросил по-английски, на каком языке господа желают говорить с ламой.

— А какие языки знает лама?

— Лама знает все языки людей.

Решили, что говорить будут по-немецки. Лама несколько медленно, но правильно заговорил на берлинском диалекте. Побеседовав с прибывшими о ситуации в России и проявив необычайную осведомленность, лама спросил, отчего *gnadigen Herr* не говорят ничего о цели своего визита — не просят предсказать их будущее. Но почему, сказал Сяндовский, великий учитель решил, что мы хотим знать свое будущее? Все хотят его знать, промолвил задумчиво

лама и добавил, что если угодно, он может сказать, сколько им осталось жить. Сяндовский в ужасе отказался. Барон же сказал, что ему, как человеку войны, это было бы бесполезно.

Служитель принес жаровню и овечьи лопатки. Слегка подзакоптив кости над огнем, лама разложил их на коврике и погрузился в созерцание черных пятен-узоров, приборматывая что-то вроде: «Девяносто... Сто пять ступеней... Сто десять... Сто двадцать. Сто двадцать две ступени».

— Моему уважаемому гостю, — подвел итог лама, осталось жить ровно 122 дня.

— Я на войне, — сказал, криво улыбнувшись барон Унгерн. — Я могу погибнуть в любой день.

— Почему же в любой-всякий? — вдруг по-русски сказал лама. — В сто двадцать второй. Эта война, — добавил он, — ничто по сравнению с той, которая, — он, как и Мессинг, назвал дату, — ожидает Россию через двадцать один год, и тем голодом, который постигнет мир через шестьдесят больших ступеней после ее окончания.

На прощанье лама сказал, что, уважая волю другого гостя, он не назовет дату его смерти, но огонь коснулся священных овечьих лопаток, и лама заметит только — что не будет нарушением воли, — что незадолго до своей смерти Сяндовский услышит имя барона Унгерна.

Путешественники вернулись в отряд; барон вместе с откатывающейся армией медленно двигался к океану, а Сяндовский с первым же надежным поездом уехал сначала в Харбин, а оттуда — в Гонконг. Там он в местной английской газете сразу же опубликовал корреспонденцию о своем посещении ламы Джелубу. Автор статьи в журнале «Пшекруй» сопроводил ее снимком из этой газеты. Копия была неважная, но кое-что прочесть было можно — во всяком случае цифра 122 виделась явственно. Факт публикации был особенно важен: статья с предсказаньем появилась до того, как стало известно, сбылось оно или нет.

Пророчество исполнилось в точности. «По странному совпадению, — писал автор журнала, — решением Сибирского реввоенсовета попавший в плен генерал Унгерн был расстрелян на 122-й день после своего визита к ламе Джелубу».

— По странному совпадению! — взволнованно-язвительно ораторствовал Антон перед Юриком Ганецким — главным скептиком, на котором Антон опробовывал материал. — Не на 121-й, не на 123-й, а — заметь — именно на тот, который назвал лама Джелубу! Дорого б я дал, чтобы узнать, что думал в этот день барон Унгерн.

Сбылась и другая часть пророчества. Во время войны (начавшейся в указанное время) Сяндовский скрывался от гестапо в варшавском гетто. Когда он явился на одну из своих квартир, хозяйка предупредила, что его разыскивал какой-то немец. «На гестаповца не похож, в армейской форме, интеллигентный, — сказала хозяйка обеспокоенному журналисту. — Уходя, представился: барон Унгерн».

Если б она знала, какое впечатление произведет это имя на Сяндовского. К вечеру он слег, его старая болезнь осложнилась новой, какой-то непонятной. Через несколько дней он умер. Уже после подавления варшавского восстания воскресший барон Унгерн разыскал хозяйку в шалаше среди развалин ее дома. Все объяснилось просто. Немец оказался сыном покойного белогвардейца, он знал гонконгскую публикацию и хотел поговорить с человеком, который последним, не считая, разумеется, красноармейцев, видел его отца. Но варшавский эпизод, полагал Антон, нарушает чистоту пророчества: здесь мог действовать второй Эдипов комплекс — предсказание исполняется по причине его воздействия на психику объекта.

Теперь была возможность избыть наконец комплекс свой (единственный, который смог наблюдать у себя Антон, когда с одним американским историком России, а по совместительству психоаналитиком целый день обшаривал свое подсознание). С трудом узнал он адрес Виктории. Едя к ней, он вдруг понял, что комплекс за годы трансформировался. На самом деле его мучило

желанье обсудить научную основу как малых предсказаний, так и глобальных пророчеств, которая несомненно существовала, обсудить с той, которая так была увлечена всем этим еще тогда, когда почти никто ничем подобным не интересовался. Свои мысли Антон собрался сжато изложить так. Время, вопреки обыденным представлениям, не движется однонаправленно от прошлого через настоящее к будущему — все эти три потока текут одновременно и параллельно. Мы находимся внутри одного — настоящего времени, язык которого нам доступен. Но есть гадалки, кудесники, ясновидцы, прорицатели, оракулы, пророки, а также великие поэты, которые способны считывать информацию и с двух других временных потоков, поэтому им доступно знание и о прошлом, и о будущем.

Обсудить ничего не удалось. Виктория, едва дослушав его взволнованное повествование, сказала: неудивительно, что эта история всплыла, сейчас все ударились в мистику, экстрасенсов как собак нерезаных, и вообще теперь она считает, что все это не нужно и малоинтересно.

Но больше, чем такое предательство, поразило Антона другое — когда открылась дверь и он увидел Викторю, немолодую, полную женщину, в лице которой чуть брезжили черты красавицы из комнаты за железной дверью. Это был первый случай, потом они пошли косяком — знакомые женщины почему-то вдруг начали дурнеть, толстеть, меняться, Антона это ранило, все в нем протестовало, после каждой такой встречи он заболел.

— Тебе надо было жить на Олимпе, среди бессмертных богов, где нет ни увяданья, ни старости, царит одна вечная молодость, — острил Юрик Ганецкий.

Но и жизнь олимпийцев была непроста — нити и их судеб тянули мойры, и судьбы эти тоже предсказывали оракулы, и даже бессмертные боги не могли изменить ни направление нитей, ни скрещение их.

# Прекрасное есть революция

У графа Шереметьева можно было встретить людей самых неожиданных. Именно там Антон познакомился с философом Григорием Васютиным. В его облике внимание привлекали университетский значок, хотя, судя по виду его носителя, свой философский факультет он окончил лет пятнадцать назад, и нахмуренно-мучительно-вдумчивый взгляд. В доме он был впервые; граф, всегда щедро аттестовавший своих гостей, рассказал, что когда несколько лет назад в Москву после долгого перерыва снова приехал известный философ Георг, или Дьердь, Лукач (с ним Шереметьев сблизился, редактируя немецкую версию его знаменитой работы о реализме), то, почтаив и послушав, сказал: в столице есть два настоящих философа — Михаил Лифшиц и Григорий Васютин.

В этот раз за столом ругали социализм, и когда стали рассуждать о принудительном труде, особенно напирая на субботники и воскресники, Антон оказался всеобщим оппонентом — стал горячо говорить, что никогда не воспринимал их так, но как общее дело, *res publica*, что кадры с «Потянем дружнее» в «Волге-Волге», которые так заругал Акакий Акакиевич, на него производят совсем другое впечатление, хочется включиться в бодрый труд над вечною рекою. (Лет через десять Антон будет спорить с автором известной тогда книги «До свидания, мальчики», которому не нравилось, как вдруг увлекся кладкой кирпича лагерник Иван Денисович — Антону же эта сцена казалась одной из лучших в великом произведении; спорил он на эту тему и потом.) Если всякий коллективный труд считать социалистическим, то я — истинное дитя социализма!

Это был недолгий в жизни Антона период увлечения Сен-Симоном, Фурье, ранними работами Маркса. Да, у нас все извращено, но возможен, а где-то (в Польше? Венгрии?), может, уже и зарождается истинный социализм, как где-то бродят настоящие пионеры в красных галстуках. Это был период, когда Антон изо всех сил пытался найти в строе что-нибудь положительное. После двадцатого съезда сильно помягчел к строю отец, надеялся, писал, что историю партии излагает по учебнику Емельяна Ярославского, а там, глядишь, дойдет и до других имен; Антон спрашивал, что обо всем этом думает дед; отец написал, запрятав сообщение в середину фразы: «Баба жива-здоровая, гадает на картах, Леонид Львович, как всегда, не верит в возможность чего-либо положительного, Тамара по-прежнему поет в хоре (следовало понимать: в церковном), Колька копит на машину». Антон считал очень полезным изучение «Капитала» в вечерних институтах марксизма-ленинизма и технических вузах: без его обязательного конспектирования сотни тысяч людей никогда бы не прочли научный труд столь серьезного содержания.

Когда расходились, к Антону подошел Васютин.

— Мне очень близко то, что вы говорили о радостном коллективном труде. Люди коммунистической эры, в отличие от нас, людей предыстории, будут трудиться с наслаждением, с полной отдачей сил, не думая об оплате — как это предсказал Ленин в работе «Великий почин». Вы читали «Святое семейство» молодого Маркса? Прекрасно! Мне почему-то так и показалось. Приходите, поговорим о коммунистической революции. А вам никто не говорил, что вы похожи на «Брута» Микельанджело?

Через неделю, стоя перед дверью коммунальной квартиры, Антон отыскивал среди разнопочерковых ярлычков фамилию философа; звонить надо было семь раз.

— А, Брут! — встретил его Григорий, и морщины на его лбу на секунду разбежались, но тут же снова вернулись на лицо, и он добавил, понизив голос: — В коридоре ничего не говорите: услышат контрреволюционеры.

Философ обитал в бывшем ватер-клозете; подобные службы в начале века еще не догадались делать без окон и невпорот — в комнатке было метров семь. Осталась и маленькая раковина, так что философ, не выходя в коридор, мог умываться, стирать белье, наливать воду в чайник, который он здесь же на электроплитке и кипятил, — все это позволяло свести к минимуму общение с контрреволюционерами, каковыми были все насельники квартиры, включая и его мать с отчимом.

Показав, где пройти между стопками книг на полу, Григорий усадил Антона на стоявший на четырех кирпичках продавленный пружинный матрас, для чего пришлось убрать прислоненный к изголовью топор. «Орудие Раскольникова», — нахмуренно улыбнувшись, сказал Григорий. Потом закурил и без всяких предисловий (у революционеров нет времени на этикетный мусор) начал излагать свою теорию прекрасного, главный тезис которой звучал так: «Прекрасное — это жизнь в ее революционном развитии», или — короче — «Прекрасное есть революция». Это было неожиданно, ново и непонятно.

— Революция оздоравливает общество, — сказал Антон. — Она выдвигает такие фигуры, как Наполеон. Она свергает замшелые авторитеты, которым больше не надо кланяться. Улучшает даже семейные отношения — после переворота семнадцатого года у всех погибли сбережения и не надо было лицемерить перед своими и прочими старыми идиотами.

— Именно! — обрадовался Григорий. — Наша революция освежила общество, как летняя гроза! Я сразу почувствовал, что мы единомышленники. Человек с лицом Брута не может мыслить иначе!

Антон смутился. В спорах он следовал совету Гройдо: старайтесь отыскать в своей душе аргументы — а они есть всегда — в пользу вашего оппонента. Как хороший адвокат, который мысленно становится даже на сторону убийцы. Про авторитеты и семейные отношения — это было почти все, что наскреб в голове Антон в защиту убийцы.

— Гроза, конечно... Но при чем тут прекрасное? Категория, мне кажется, — из другой оперы. Я привык думать, что прекрасное — это совершенство, гармония в искусстве, человеке...

— Абсолютно верно. Но это только начальная стадия прекрасного, его первое определение. Необходимо второе, которое является развитием и дополнением первого. Все великие произведения искусства — детища революции. Революционер с головы до пят — так называл Шелли Маркс. Байрон — лорд-карбонарий — погиб за свободу Греции. А помните, что сказал Шуман о музыке Шопена? «Это пушки, спрятанные в цветах»! В статье «Искусство и революция» Рихард Вагнер высказал великую мысль, что искусство и революция имеют общую цель.

Антон пытался возражать, приводя другие примеры, но каким-то образом выходило, что и Пушкин, и Мусоргский, и Достоевский — продукты или декабризма, или шестидесятничества, и кем бы был Достоевский без петрашевцев? Антон был странно заморожен подобным подходом к искусству — значит, можно и так? — при котором не существовало ни историзма, ни иерархии, ни художественного уровня: в один ряд попадали «Спартак», «Овод» и «Былое и думы», революционные стихи Пушкина и Огарева, «Что делать?» и «Преступление и наказание», «Дни Турбиных» и «Любовь Яровая». Назывались имена Фурманова, Говарда Фаста, Анны Зегерс, «Генерал» Симонова и «Шумел сурово Брянский лес» Софронова. Все эти произведения служили единой цели.

— Подлинная поэзия — не результат вымысла, а продукт наиболее глубоких законов революционного развития реальной действительности. Эти законы есть также и законы красоты.

Важнейшим доказательством этого тезиса Григорий считал поразительное сходство даже внешнего облика борцов за свободу с великими образцами классического искусства.

— «Мадонна Бартоломео Питти» Микельанджело — буквальный физический прообраз Зои Космодемьянской.

Точной копией мадонны то ли Тициана, то ли Мурильо — Антон позабыл — была внешность революционерки Люси Люсиновой.

Говорил Григорий хорошо, даже блестяще, не затрудняясь ни выбором слов, ни примеров из искусства всех времен. Но с лица его почему-то не сходило мучительно-напряженное выражение. Один из зеленобородых шереметьевских друзей (про него было известно, что на шестом заседании Религиозно-философского общества Мережковский пожал ему руку и произнес: «В вас есть мистическое чувство, молодой человек!») сказал как-то: «Почему у него всегда такое лицо, будто он велосипед выдумывает? Я видел философов — Трубецкого, Лосского, Розанова — обычные спокойные лица. А у Канта? Простецкая физиономия!». Это страдательное выражение напряженной работы мысли парализовало у Антона всякую способность и охоту к возражениям: не может быть неправ тот, кто так страстно и мучительно над всем этим размышляет.

Григорий вдруг остановился и сказал, что понимает, его теория непривычна, и вы, Брут, должны ее обдумать, а сейчас пора обедать.

Обед состоял из чая с хлебом и соевыми конфетами «Кавказские» — 1 руб. 40 коп. сто грамм. Это была, видимо, основная еда философа: ничего другого Антон в этой комнате не едал. Жил Григорий на пенсию по инвалидности (что-то по психической линии), едва превышающую стипендию второкурсника (этим объяснялись и тазы с бельем), да еще ухитрялся покупать книги. Книги он, впрочем, покупал только дешевые, более ценные же целиком переписывал от руки — Антон с оторопью листал нумерованные общие тетради с переписанной четким почерком «Историей первобытного общества» и алпатовской «Историей искусств».

К следующим визитам Антон готовился, даже записывал на бумажку возражения. Но однонаправленный, неотклоняемый ум философа проходил сквозь них, как нож сквозь масло.

— Разумеется, глубоко неверно ограничивать объем лучших произведений мирового искусства вещами с явно выраженной революционной тематикой. Он ими далеко не исчерпывается. «Страшный» суд Сикстинской капеллы — апофеоз уничтожения и творчества, грандиозная революция на том свете. Но не противоречит ли положение, что прекрасное — это революция, тому, что революционность — критерий художественности? Не противоречит. Дело в том, что прекрасное революционно в своей первичной коренной сущности. Аполлон Бельведерский или Афродита Книдская не менее революционны, чем Гармодий и Аристокитон или микельанджеловский Брут. Революционны по своему содержанию «Афродита Милосская» и «Сикстинская мадонна», «Весна» Боттичелли и «Спящая Венера» Джорджоне — ибо всякая подлинная красота всегда революционна. Все без исключения законы художественной выразительности и законы красоты есть законы диалектики революционного развития. Следовательно, высокие эстетические идеалы вообще и все подлинные художественные творения революционны в своей основе!

Зная отрицательное отношение Григория к модернизму, Антон хотел подловить его на футуризме, кубизме, супрематизме — течениях несомненно в искусстве революционных, но, закаленный в дискуссиях не такого уровня, философ клал его на лопатки одной левой:

— Все эти направления основаны на эквилибристике геометрических форм, их симметрия рассматривается как самоцель, а не как средство отображения социальной гармонии человека, долженствующее быть подчиненным последней. Геометрическое поработает человеческое!

Чтобы человеческое поработалось чем-нибудь, Антон не любил. В эти годы он всегда хотел есть — львиная доля денег уходила на книги, консерваторию, театры; бассейн тоже ощущения сытости не прибавлял. Однажды, опоздав на заседание возобновленных после тридцатилетнего

перерыва Никитинских субботников, Антон оказался далеко от стола с закусками, с которого сидевшие поближе время от времени брали бутерброды с икрой и ветчиной и меланхолично жевали; наблюдая это в течение двух часов, он под конец чуть не упал в обморок. Особенно аппетит развивался почему-то во время разговоров с Григорием; с какого-то времени Антон уже плохо соображал, ожидая чая с соевыми конфетами. Григорий при видимой хлипкости обладал невероятной выносливостью в умственных занятиях и спорах; как-то вечером после трехчасового разговора он обмолвился, что всю первую половину дня у него просидел руководитель гегелевского семинара философского факультета Миша Овсянников, а уже при Антоне ушел Эвальд Ильенков — его вечный оппонент в толковании Маркса, в спор с которым Антон даже рискнул вмешаться, на что Ильенков, удивленно повернувшись к Григорию, сказал: «Есть философская жилка у мальчика!» — «Ты говоришь, как Мережковский про мистическое чувство у друга Шереметьева!» — засмеялся Григорий. Антону же это напомнило другое — слова лучшего спортсмена Чебачинска десятиклассника Юрки Зорина, пришедшего посмотреть встречу седьмого «А» и седьмого «Б» и сказавшего после того, как Антон пробил пенальти: «Есть ударчик у мальчика!».

Иногда спасала соседка Григория — приносила кусок домашнего пирога и чай в коллекционных чашках на тусклом серебряном подносе.

— Диалектическое противоречие, — после первого ее посещения сказал Григорий. — Контрреволюционеры хранят высокое — то есть революционное — искусство. Но эти чашки впервые покидают стан врага — для вас. Ведь я с соседями давно почти не разговариваю. Сначала мы дружили, вместе рассматривали их коллекцию фарфора, одну из лучших в Москве. Но потом, когда я узнал их взгляды, мы навсегда разошлись.

— А какие у них взгляды?

— Они не верят в грядущую коммунистическую революцию. Про вас они говорят, что вы единственный нормальный человек из моих знакомых. Чем вы их так расположили?

Однажды, не застав Григория (у того были свои отношения со временем: он мог опоздать на два, на три часа, позвонить не через день, а через месяц, встретиться с человеком через пять лет и считать, что они виделись недавно), Антон на кухне разговорился с коллекционерами. По своему обыкновению говорить с каждым человеком об его интересах и благодаря другому обыкновению — запоминать что ни попадя, Антон рассказал им о нескольких самых знаменитых подделках: фальшивкой оказалась знаменитая статуя греческого дискобола, один монах еще в середине прошлого века наводнил библиотеки поддельными средневековыми пергаменами; самый известный и талантливый фальсификатор Ян ван Мехерен уже в наше время написал около десяти картин под Вермеера Дельфтского, за которые получил полмиллиона гульденов, а две из них — «Дама и кавалер» и «Христос и грешница» — специалисты провозгласили вершиной творчества великого голландца. В конце прошлого века антикварные лавки Старого и Нового света заполнили роскошные сервизы японского фарфора. Вскоре выяснилось, что это — европейские подделки. К сожалению, определить подлинность можно было, лишь разбив чашку и сделав химический анализ; крупнейшая антикварная фирма назначила огромную премию тому, кто найдет способ установить подлинность, не разбивая. Премия досталась сыну рязанского полицмейстера Грязнову, студенту-математику из Сорбонны. Способ, как все гениальное, был прост. Окружности чашек и тарелок, сделанных в Стране восходящего солнца вручную на гончарном кругу, были не совсем правильной геометрической формы, периметр же посуды, произведенной на станках подпольной европейской фабрики, всегда представлял идеальную окружность. Последней историей Антон попал в самую точку: соседей Григория в это самое время чрезвычайно волновал вопрос о недавно купленных нескольких предметах из японского сервиза как раз конца века.

Приходя за чашками, носить которые по квартире соседка не доверяла никому, она не могла удержаться, чтобы не спросить невинным тоном: все ли при коммунизме будут пить из таких чашечек? На это Григорий очень серьезно отвечал: вне всякого сомнения.

— Люди не понимают, — говорил он, закрыв за соседкой дверь на ключ, — что коммунизм такая же реальность, как сиюминутная эмпирическая действительность, в которой они пребывают. Революции прошлого — действительный прообраз коммунизма, а красота классического искусства — его идеальный прообраз.

Юрик Ганецкий, остривший, что Антон своими периферийными рассказами завершил его антисоветское образование, послушав один раз Григория, недоумевал: «Как ты можешь целыми вечерами выслушивать эту официальную фразеологию?» Антон защищал философа, говорил, что под привычной терминологической оболочкой у него — совсем другое и что недаром его нигде не печатают, хотя в заглавии каждой его статьи стоят слова «революция» или «коммунизм». И напоминал историю с летним письмом Григория ему в Чебачинск, в котором тот излагал содержание своей статьи о коммунистическом идеале. Письмо почтальон случайно занес к соседу — инструктору райкома партии, который, случайно же его прочитав, провел серьезную беседу с Петром Ивановичем: как старший партийный товарищ он настоятельно советовал не поощрять такие знакомства сына; Антон имел неприятный разговор с отцом. Григорий говорил: «Я их бью собственным оружием и на их же территории». Похоже, они это чувствовали.

С трудом освободился потом Антон от гипноза васютинской теории, где все было так логично, пригнано и красиво. А пока он ходил к Григорию каждую неделю, брал у него книги, слушал и не возражал.

На день рождения, приходившийся на седьмое ноября, в чем, разумеется, был провиденциальный революционный смысл, Антон подарил Григорию пластинку с «Интернационалом». Радиола была старая и плохая, но динамик у нее оказался мощный. Когда сосед (не коллекционер, а другой, но тоже контрреволюционер) постучал в дверь и испуганно поинтересовался, не сделали ли партийный гимн снова государственным, раз передают по радио, Григорий радовался, как ребенок.

— Пусть содрогаются перед коммунистической революцией! Коммунистическая революция — последний страшный суд истории!

У Григория был приятель, лингвист Игорь Грибов, красавец и сердцеед, который уговаривал его не игнорировать вопрос любви и даже приводил раза два каких-то своих приятельниц, интересующихся проблемой прекрасного. Но кончилось это тем, что он забросил диссертацию и целыми днями сидел подле Григория с блокнотом и, как Эккерман, записывал все, что тот говорил, так что вскоре мог развивать идеи о прекрасном и революции не хуже их автора, а некоторые слушательницы находили, что даже лучше. В близком окружении стали поговаривать, что если Васютин — Маркс, то Грибов — по крайней мере Энгельс. Прошел слух, что он заканчивает большой труд с изложением идей мэтра.

Однажды рано утром в воскресенье Антон получил от Григория срочную телеграмму с просьбой немедленно приехать по важному делу; отправлена она была в два часа ночи.

Через час взволнованный Антон уже сидел в комнатухе еще больше взволнованного Григория.

— Брут, вы можете сейчас поехать со мной за город, в лес? Нужно сжечь одну рукопись, — он нервно шерстил стопу исписанных мелким почерком листов, по виду страниц в триста.

Узнав, что важное дело заключается в этом, Антон успокоился.

— А зачем в лес, да жечь? Раздерем ее, как говорил Кувычко, на шмаття — и в мусорный контейнер. Или в два-три, если нужно, чтоб никто не собрал.

— В данном случае это никак не подходит! Она должна быть предана огню!



Выяснилось, что сожжению подлежало сочинение Грибова, в котором он, изложив идеи Васютина, их исказил, упростил и выхолостил так, что из них полностью исчезло революционное содержание.

— Очистительный огонь! Аутодафе!

Рукопись сожгли в лесу возле Опалихи.

Чаще всего Антон вспоминал одну встречу с Григорием во дворике старого здания университета на Моховой, куда философ иногда приходил посидеть, покурить, поглядеть на памятники Герцену и Огареву. Сказал, что ни с кем не выдается и очень занят проблемой: имеет ли революционер право на робинзонаду? Когда Антон уже зашагал в сторону «Националя», он вдруг услышал:

— Брут! — Григорий стоял и смотрел ему вслед; Антон остановился. — Храните революционные традиции!

Был час окончания лекций, из университета косяком валил народ. Антон мог бы поручиться, что головы повернули все, а многие и призамедлились. Во всяком случае комсорг курса Геныч, считавший Антона тайной конторой, остановился как вкопанный.

— Не забывайте! — еще громче прокричал Григорий, вытянув вперед руку. — Храните!

Одинокий путник на пустынной, далекой от жилья дороге странен. Калик перехожих, пеших паломников, странников уже нет, они давно ездят и летают. Почему он идет по дороге, зачем один? Какое-то чувство, воспоминание чего-то, быть может, не в вашей жизни, волнует и заставляет смотреть ему вслед — может, и мне надо так, одному, по обочине, неведомо куда?

По шоссе от Судака на Новый Свет бежал пес. Я был один, я шел медленно, отдыхая после долгого бега, никто не отвлекал меня, я мог смотреть на него сколько угодно. Это был не холеный городской, но и не бродячий, а хозяйский хороший пес; бежал он ровной иноходью, под шкурой за загривком мерно ходили его лопатки. И раздавался какой-то странный звук, я нескоро понял: в вечерней тишине явственно слышался сухой костяной стук — когтей по асфальту.

Вы замечали, что сущность животного вернее всего выявляется в беге? Я не говорю уж о профессиональных бегунах — о борзых, гепарде, неправдоподобный бег которого просится в замедленную киносъемку, о совершенном ходе ахалтекинца — не на ипподроме, а в степи. Речь идет о тех, для кого бег — нечастая необходимость. Тяжелый бег коровы, оторванной от своего мирного занятия, мощный топот склонившего до земли рога рассерженного бугая, бестолковый бег овец, пыхтящая трусца служащего с портфелем, скачки невесомых козлят на сухих копытцах, хитроватая, поросячья, косая побегжка ежа.

Но никто не бежит так осмысленно, как бежит пес. Не возле своего дома, вперебежку через проулок, а где-нибудь далеко, на загородном шоссе. Он не рыскает, как тротуарная собака, туда-сюда, он движется сосредоточенно, по прямой — к знаемой цели. На Киевском шоссе за Москвой я видел бегущего пса, держащего в зубах упакованный в несколько слоев целлофана батон. До ближайшего поселка было не меньше трех километров. Пес обогнул меня по дуге, ни на йоту не сбив свою иноходь. Он бежал по делу.

В глазах Антона этот целеполагающий песий бег был недостижимым образцом своего пути, дела, жизни. В детстве у него было одно желание, о котором он один раз сказал маме, но она положила ему теплую руку знакомым движеньем на лоб и сказала: спи, спи. Второй раз он поведал об этом желании в минуту бесконечного ночного доверия одной женщине. Она немного помолчала, потом засмеялась и сказала: «Ты и есть такой». И выражение лица у нее было как у мамы тогда. А сказал он им обеим, что хочет быть псом: маме — что толстым щенком, как Буян, с висячими замшевыми мягкими ушами и холодным носом, любовнице — что большим псом с широкой грудью и длинными мощными лапами. И когда ему удавалось что-то долго и успешно преодолеть, он чувствовал себя таким псом. Пес бежал по шоссе, равномерно, долго, далеко, летом, в жару, осенью, когда фонтанчики пара отрываются от черной морды, как от вскипающего на костре закопченного чайника, это он, Антон, это я бежал по шоссе — я много бегал тогда, по десять, пятнадцать километров. И когда он вбегал в придорожный поселок, собаки, повинувшись древнему инстинкту, с лаем бросались вдогонку, становясь его врагами, он огрызался на ходу, и ему хотелось крикнуть: я ваш, я такой же, как вы, я тоже бегу по шоссе и слышу, как стучат по асфальту мои когти.

Там, на Судацком шоссе, на другой день перед закатом я снова увидел его. В тот день у меня был вечерний бег и я мог составить ему компанию. Искоса посмотрев на меня, пес перебежал через шоссе и, немного прибавив, побежал по другой обочине. Но оторваться ему не удалось, я в то лето был в хорошей форме и не отстал, когда он прибавил еще. Так мы долго бежали параллельно, разделенные лентой шоссе, пес на скок не переходил — было еще далеко, и иноходь оставлять не стоило. Когда мы вбежали в Новый Свет, у цистерны с выбракованным шампанским, продававшимся в розлив, стояла очередь. Бегущих людей не любят псы, а псов —

люди. Очередь вмиг ожесточилась: «Сапогом ему в морду!..» «Сук плачет по этой суке!» Пес решил, что пора идти в отрыв, длинными стелющимися скачками сре'зал перекресток и исчез в переулке.

Куда он бегал и зачем? Навестить друга-пса? Нет, он бегал к ней, своей песьей подруге, а теперь возвращался домой — так Антон рассказывал про него еще одной женщине. Когда в своих прогулках они доходили до железной дороги, то всякий раз видели одинокий тепловоз. Утром он ехал веселый и яркий, вечером возвращался тусклый и ехал медленно и неохотно. Антон объяснял: машинист ехал к своей возлюбленной, она живет в конце перегона, и что ж ему делать — не такси же брать, начальство идет ему навстречу, он хороший машинист, и он катается так уже давно. Она верила, а потом Антон рассказал ей про бегущего пса, и они вместе пытались проникнуть в песью душу, но скоро выяснилось, что мы не можем проникнуть в песью душу, и она смеялась, говоря, что Антон теперь начнет работать над большой монографией «Жизнь псов». Антон не смеялся и говорил, что все свои научные работы, напечатанные и неоконченные, отдал бы за авторство брошюры, которая называлась бы «Псы» или, по крайности, «Верблюды». Хорошо б при этом еще иметь фамилию «Псарев». Или «Песов» — за эту вообще все отдай и будет мало. Или жить на берегу реки Псоу. Но потом, чтоб не выглядеть слишком занудным, стал вспоминать что-нибудь забавное, например, как в девятом классе он сделал доклад на тему «Верблюдоводство», а учительнице географии показалось, что это насмешка, она почему-то считала, что и само слово придумал Антон. Но это была не насмешка, к верблюдам Антон относился слишком серьезно, и еще в четвертом классе сочинил стихи: «Небо сине. Солнце жжет. По пустыне знойной караван идет. Тощие верблюды головы склонили». И вообще не до смеха, когда верблюдоводство падает. Меж тем один верблюд дает в год до двух с половиной тысяч литров молока, и это не несчастное коровье молоко — в верблюжачьем очень высокое содержание казеина, глобулина и альбумина, а альбумин играет важную роль в синтезе тканевого белка и содержит такие жизненно необходимые аминокислоты, как лизин и триптофан, которые способствуют образованию красных кровяных шариков. А шерсть? Из которой делают лучшие одеяла, кошму, идущую на юрты, — она не намокает, ее боятся скорпионы! Чтобы привезти сумку почты и мешок продуктов, сейчас гоняют по пустыне вездеход, губят ее слабый верхний почвенный слой. А верблюд-дромадер со своими широкими копытами и нежными губами его нисколько не нарушает. И ест он в полупустынях Казахстана то, чего не едят овцы и лошади: полынь, солянку, сапаргус, камфарос. И люди давно все это поняли, и количество верблюдов в мире увеличилось с восьми миллионов в 39-м году до пятнадцати в 72-м. И даже Австралия присоединилась к держателям дромадеров и одногорбых бактрианов, хотя и тех и других там сроду не было. И только у нас верблюжье поголовье сокращается.

Антон очень удивился, когда в конце этой речи женщина сказала, как когда-то учительница, что это уже издевательство, что затянувшаяся шутка — уже не шутка, и что она пойдет домой. Антон не очень огорчился, потому что гораздо больше был расстроен уменьшением поголовья верблюдов. И жалел в тот вечер только о том, что не успел прочитать стихи Кедрина: «Стон верблюдов горбоносых у ворот восточных где-то». И дальше — про войлочных верблюдов. «Войлочные» — это хорошо.

Мы с Васькой Гагиным любили верблюдов. Нельзя сказать, чтобы зверья вокруг было мало: у всех коровы, телята, поросята; у насельников Набережной — обязательные гуси, утки; за своих считали скворцов, скворешни висели в каждом палисаднике, Васька клялся, что в его скворечник пять лет прилетает одна и та же семья и будто скворчиная мамаша откликается на кличку «Вера»; летали вороны, грачи, снегири, коршуны, от которых надо было охранять цыплят. Но верблюды были как бы из другого мира — высоченные красавцы со строгими

бровями и огромными горбами, вершушки которых весной свешивались вбок, а после лета торчали, как горные пики за Озером. Они появлялись на нашей улице редко, это было событие, но мне казалось оскорбительным для *них* бежать по улице за *ними* и кричать: «Ваня-Ваня — соль-соль!». Я повлиял на Ваську, и он хоть и бежал, но не кричал. Весной за верблюдицей трусил маленький верблюжонок, но горбик у него уже был, а если верблюжонок был уже большенький, второгодок, то у него в перемычке между ноздрями торчала перпендикулярно морде палочка — джида, чтобы не зарастала проколота там дырка. Джиду делали из саксаула, который не гниет от слюны и соплей, через год ее вынимали.

Конечно, странно расставаться с женщиной из-за верблюдоводства, но у Антона такое случилось уже не в первый раз. Предыдущий был со Стеллеровой коровой. Это замечательное морское животное, напоминающее тюленя, водилось только у Командорских островов. Была она большая — до десяти метров и около трех тонн весом. Ее молоко превосходило по жирности коровье и даже верблюжье. Необычайно вкусное, напоминающее телятину мясо не портилось на самой жаре несколько недель, топленый жир напоминал пахучее сладкое миндальное масло. Питались морские коровы водорослями, паслись у самого берега, были мирные и доверчивые, с любопытством смотрели они на людей своими кроткими круглыми глазами на усатых мордках и как будто просились, чтобы их одомашнили и доили, как коров сухопутных. Но люди их убивали и убивали, пока не перебили совсем. Тогдашняя подруга Антона, преподавательница хинди Алина не вынесла постоянного Антонова огорчения от их гибели. Когда она думала, что трагедия эта произошла недавно, она терпела; каплей, переполнившей чашу, стало, когда она узнала, что последняя Стеллерова корова была убита в 1768 году.

Но все верблюды жили далеко, и ни с одним не удалось тесно сойтись, что огорчало Антона все годы жизни в Чебачинске и долго после. По наущению Антона Васька через своего друга Карбека пытался воздействовать на его отца — чтоб Карбек намекнул ему, как удобно будет ездить в лесничество, покачиваясь между горбами верблюдицы. А молоко, а шерсть! Но отец почему-то продолжал ездить на низкорослой лохматой кобылке степной породы.

Зато с собаками был полный порядок — жили в каждом дворе. Породистых не было, а единственная — огромный кобель Индус, названный в честь знаменитого пса героя-пограничника с замечательной фамилией Карацупа, жил в милиции. Пес был сначала немецкой овчаркой, но в один прекрасный день в милицейском коридоре был вывешен приказ майора Березы — с такого-то числа служебно-розыскную собаку Индуса именовать: овчарка восточно-европейская. Третью чебачинского собачества, по подсчетам Антона, который с таковою целью неделю бродил по городу, была цепной, остальные пользовались свободой неограниченной — бегали к столовой, к магазинам, друг другу в гости, просто так по улицам. Антон почти всех знал в лицо, подзывал и гладил, в школу выходил сильно заранее, чтоб пообщаться со знакомыми, которым приносил по косточке и которые ждали его в своих подворотнях; некоторые норовили выбежать сразу, положить лапы на грудь и облизать физиономию; другие сдерживали свои чувства, и только по шевелению травы в области нахождения хвоста можно было об них догадаться.

По воскресеньям всех своих знакомцев Антон видел на базаре, были и псы незнакомые. Однажды, когда Антон с бабкой уже выходили с рынка, они увидели, что небольшая черная собачка убегает, держа в зубах только что купленную ими на холодец коровью ногу с шерстью и копытом. «Держи!» — закричала бабка, народ кинулся держать, перепуганный песик бросил кость и скрылся под телегами. Дома при разборке корзины обнаружилось, что на ее дне лежит вторая нога с копытом. Бабка ошиблась! Та коровья нога была собачкина! Антон долго не мог успокоиться, что у собачки отобрали кость, которую ей подарили, и даже собрался плакать, но тетя Лариса сказала, что собачка скорее всего эту кость все же стащила, и это будет ей наука. Антона правовая постановка вопроса не убедила, и, засыпая, он представлял, как ночью идет с

ногой на базар, а собачка ждет у ворот, он отдаст ей ее собственность, и она грызет ее потом где-нибудь на травке или куче сена. И название у кости было хорошее: малая берцовая. Лучшими были только два — грудино-ключично-сосковая (это было вообще лучшее в мире) и тазобедренный, потому что про него были стихи: дева, встав, изогнула свой изящный тазобедренный сустав.

Собаки были у всех. У Вальки Шелепова — Дик, небольшой муругий пес, сидевший на цепи с огромными звеньями — эту цепь, ограждавшую некогда могилу купца Сапогова, Шелеповым за бутылку уступил взрывник Сила, когда после взрыва чебачинской церкви ликвидировали заодно и прицерковное кладбище. Таскать эту цепь, видимо, было очень трудно, потому что Дик обычно лежал. У Петьки Змейко был одноглазый пес Полкан. У Васьки Гагина — сука Пульма. Она всегда была щенная — большой живот на худых кривых ногах. Дядька Васьки — директор конторы «Заготживсырьё» (Антон был уверен, что она называется «Заготзаживсырьё») каждое очередное Пульмино потомство заставлял ликвидировать Ваську. Я как верный друг не мог оставить его наедине с этим ужасным делом. Ничего в жизни не было тяжелее — смотреть, как Васька швыряет щенков в речку. (С возрастом такое не легче, думал Антон, принеся в ветлечебницу прожившую в доме пятнадцать лет свою кошку Феню, у которой образовалась опухоль на животе и которая целыми днями кричала страшным мявом. Перед ними пожилой санитар стал записывать в тетрадь невероятно исхудавшую большую овчарку; она положила на стол голову и смотрела, как будто знала, что это за тетрадь и что пишет санитар.) Одного щенка разрешалось оставить, и как мучительно было выбирать: у кого отнять, а кому даровать жизнь. Мне хотелось оставить самого убогого, Васька считал — самого здорового, крупного. Говорили за верное: если рот у щенка внутри не розовый, а черный, то пес вырастет злой, что было важно, и мы старательно раздирали пальцами щенячьи пастички.

У нас был Буян, огромный сильный черный пес, на котором я сначала ездил верхом, а когда подрос — впрягал его в детские санки, ехал и кричал «хо!» как настоящий каюр.

Буян пропал. Сосед, вернувшийся из магаданских лагерей подкулачник Куркун, который не мог работать и целый день грелся на солнышке на завалинке или сидел на лавочке у забора, сказал, что видел нашего кобеля с Егоркой-пьяницей. Я похолодел. Егорку я ненавидел. Проходя мимо нашего двора, где Буян играл с васькигагинской Пульмой, он говорил громко: «Сучонку на ремешки, кобеля на мыло» или: «Хвост от суки сгодится для науки». Егорка был тот, кто привел к Кузьме Ивановичу, дяде Кузику, туберкулезнику, собаку, которую сам же и зарезал; считалось, что жир черной собаки помогает от чахотки. Жена дяди Кузика, Броня, вытапливала собачий жир, ее тошнило, весь дом провонял псиной, зашедшую беременную соседку вырвало прямо на пороге. Отец любил Кузика, но про все это слышать не мог. Выпив, он всегда подымал эту тему, приводя литературные примеры.

— Что, Белинский ел собак? Разве Надсон пил этот мерзкий жир? А Чехов? Как врач он понимал, что это реникса, чепуха. Он поехал в Баденвейлер и умер, но и там не ел собачины!

Кузик преподавал в техникуме электротехнику — он окончил мореходное училище, до войны бывал в Италии, Гонконге, Индии. Василию Илларионовичу рассказывал про сингапурские бордели (Антону разъяснили, что это такие театры). Войну он начал на Севере, но заболел чахоткой, с флота его списали и направили в туберкулезный кумысолечебный санаторий «Чебачье», ему стало лучше, и он переехал в эти места насовсем. Здоровье поправилось, родилась дочка; Броня принимала все меры предосторожности, отцу не разрешалось брать ее на руки, а целовать — только в пятку.

Кузик профессионально рисовал, помогал маме оформлять стенгазету «Горняк-металлург», изображая перед заголовками линкоры и подводные лодки, за что маму ругал парторг Гонюков (его фамилию я слышал всегда только со вставленной буквой «в» и думал, что так и есть, это

меня смущало, но вопросов я, по обыкновению, не задавал); парторг предпочитал бы видеть в газете терриконы и доменные печи; но Кузик говорил, что печь может нарисовать лишь русскую, с горшками и ухватами. Мама велела консультироваться у только что вернувшегося с фронта Василия Илларионовича; после беседы с ним Кузик нарисовал штрек, по которому тащила вагонетку выбивающаяся из сил лошадь. Я тоже знал про этих лошадей: спустив в шахту, их уже никогда не подымали обратно на поверхность, они работали, слепли, умирали, и их закапывали в каком-нибудь заброшенном забое (рассказ про них стоил долгих слез под одеялом). Был большой скандал: где вы видели, кричал парторг, конную тягу в наших социалистических забоях! До слова «вредительство» оставалось рукой подать, дядя Кузик был отставлен и стал рисовать — пароходы, лошадей и все, что хотел, — исключительно в мой альбом, который сам же мне и подарил. Он вообще был добрый, я его очень любил, и когда прошел слух, что Буяна съел именно дядя Кузик, я не спал почти всю ночь — было жалко и того, и другого, но Буяна как-то больше, я понимал, что это нехорошо, и терзался еще сильнее. Тетя Лариса, спавшая со мною в одной комнате, под утро сказала, что, может, Буяна съел не Кузик, а ссыльные корейцы, которые, по слухам, ели собак. Но медсестра Галка Кувычко, жена корейца Пака, не ссыльного, а, наоборот, даже заместителя директора райпотребсоюза, с которой проблема была обсуждена, авторитетно заявила, что корейцы едят собак особых, которых специально выращивали на своем полуострове еще каким-то там императорам и которые больше похожи на свиней, чем на собак, а наши дворняги им даром не нужны. Я опять огорчился, но когда про собак-свиней рассказал Ваське, тот заявил, что он знает точно: лопают самых обыкновенных, не императорских, натуральную собачину. Я немного успокоился — может, Буяна съел все же не дядя Кузик. Но потом увидел на нем меховую шапку буянской масти и расстроился опять. «Мне собаку есть не нравится, но беда — туберкулез. Неужели не поправиться, и погибну я, как пес? Съел собаку и поправился, и прошел туберкулез». Но Кузик не поправился — простудился на весенней рыбалке несмотря на гонконгский комбинезон, открылись каверны. Он очень хотел дожить до победы, но не дотянул неделю. Еще он хотел перед смертью обнять и поцеловать свою дочку, но Броня не разрешила — боялась инфицирования.

После него осталось несколько картин. Это были странные полотна: человек лежит на дне моря, а над ним идет пароход. И еще: северное сияние, льды, огромный белый медведь стоит над трупом человека, а сбоку — ярко-зеленая тропическая пальма. Или: на дне моря взорванная, покореженная подводная лодка с как бы прозрачным корпусом, сквозь который видны страшные тела задохнувшихся людей — один руками разодрал себе грудь, и видно, как бьется лиловое сердце. На борту лодки можно прочесть: «Комсом...» Это была его последняя картина. Я вспомнил о ней, когда в семьдесят каком-то году пошли слухи о гибели атомной субмарины «Комсомолец». Плавала ли в войну лодка с таким названием или тогда они были под номерами, как знаменитая Щ-138 великого подводника Маринеско? Или это была странная угадка? Прозрение перед смертью? Броня показала потом картины в надежде на продажу заезжему лектору из общества «Знание», но он сказал, что все это не созвучно эпохе и вообще — сюрреализм. Картины долго валялись на худом чердаке. Их заливало, они сгнили. Броня умерла.

Судьба Буяна II была несчастлива.

У Кемпелей, соседей, тоже была собака — Блонди, никто еще не знал, что это имя будет всемирно знаменито. Ее ночью прямо возле дома загрызли волки и утащили в темный лес — кровавые следы вели через речку прямо туда. Тетя Лариса говорила, что запрет нашего пса на ночь в сарай, но как-то не собралась; Буяна II разорвали прямо на огороде. «На шмаття!» — сказал Тарас Кувычко; утром ветер шевелил лишь клочья рыжей шерсти, втопанной в снег тяжелыми лапами. По этому поводу вспомнили старые истории: как волки заели быка

Черномора, как загнали лесника на сосну и сидели внизу до утра, и он отморозил ноги, которые пришлось ампутировать, как напали в батмашинском лесу на учительницу, оставив от нее одни только туфельки (потом Антон прочтет у Пришвина, что это бродячий волчий сюжет, в котором всегда фигурируют туфельки). И как будто накликали. Серые хищники не унялись; однажды утром Тамара обнаружила начало подкопа под сарай, где жила Зорька, однако решили, что в мерзлой земле волкам лаз не прорыть. Но ночью Зорька стала стучать рогом в стену. Дед взял топор и вышел. Было жутко: открывает дверь и уходит в темноту, *туда*. Я такого не смог бы сделать никогда; было ясно: я — трус. По этому поводу я долго расстраивался, пока одна бабкина прихлебательница не сказала: какой смелый мальчик! А сказала она это вот по какому поводу. Придя с санками с речки, Антон с восторгом рассказывал, как под вечер, когда все ребята уже ушли, на горку прибежала огромная серая собака с тремя щенками, небольшими, но вот с такими башками, и они стали съезжать с горки на лапах, а собака смотрела. «Так это же была волчица!» — ахнула бабка и побледнела. Тут-то тетя и сказала эту фразу, а у Антона не хватило духу признаться, что он не догадался, что катался с волчихой и ее волчятами. А горка с тех пор получила прозвание Волчьей. Правда, кроме бабки и Антона, никто больше этого не знал.

Главное воспоминание об отце: ночь, стол, бумаги, желтый круг от керосиновой лампы-молнии. Иногда с другой стороны стола, близко к лампе, Антон видел соседку Полину, жену Гурки — она вязала по ночам, днем не давали ее пятеро мал мала меньше, просилась посидеть: «Вы ж все равно керосин жжете». Проснувшись, Антон любил разглядывать его лицо, может, потому, что днем это было невозможно, его всегда, как ветром, куда-то несло, дом был, как станция пересадки, где получалось только наскоро перекусить, чтобы лететь дальше. Он преподавал в техникуме, педучилище, в школе (историю как дисциплину идеологическую ссыльным не доверяли), вечерами читал лекции о международном положении, и когда не получалось с транспортом, ходил за четыре километра в депо и за пять в Батмашку, в туберкулезные санатории, и своим же ходом возвращался. Уже в темноте, не заходя в дом, не мог удержаться, чтоб не поотбрасывать во дворе снег или понакидывать завалинку.

Подросши, Антон любил его куда-нибудь поблизости сопровождать — бежал рядом впопрыжку, а отец рассказывал что-нибудь из истории; так и называлось: история впопрыжку. Хронологические рамки были широки: от первобытного общества до современности. Правда, не присутствовал древний Восток, где, в отличие от Греции и Рима, не просматривались исторические анекдоты — главное в истории. Одну из самых частых тем представляли политики, но только великие — Талейран, Бисмарк, Рузвельт, Черчилль, — те, по поводу которых можно было произнести восхищенное «Выхх!»

— Уинстону Черчиллю шел шестьдесят шестой год. Другие в этом возрасте в своих поместьях едят мемуары. Но страна находилась в опасности. Англия вспомнила о нем и призвала его, вручив ему власть 10 мая 1940 года — за пять лет до победы. И первое, что он сказал, — о победе. Но ты послушай, что он сказал!

Отец сунул мне тяжелый портфель, выхватил из кармана свою толстую записную книжку с медными уголками и перед воротами педучилища стал читать взволнованным голосом:

— «Вы спросите у меня: какова наша цель? Я отвечу одним словом: победа! Победа любой ценой, несмотря ни на что, победа, каким бы долгим и тяжким ни был путь к ней. Я могу предложить вам только кровь, труд, пот и слезы».

Подходивший к воротам преподаватель, тот самый, перед приходом которого дед снимал иконы, остановился за спиной отца и прослушал все до конца.

— Кто это так красиво высказывался, Петр Иванович? Стиль словно как бы не наш.

Отец быстро повернулся.

— Добрый день, Роман Елисеевич! Вы как-то незаметно... Кто? Молотов, Вячеслав Михайлович!

Когда Роман Елисеевич, поулыбавшись, ушел, отец сказал:

— Увидишь его поблизости — тут же говори мне.

Черчилль вошел в мой пантеон героев, я вписал его в тетрадку про все необыкновенное и вклеил картинку из старого «Британского союзника» — его отец сильно изрезал, но снимок стремительно идущего с тростью премьера не пострадал.

Уже в университете мне сильно повезло: один старый профессор в детстве видел сэра Уинстона, когда тот еще не назывался сэром и был почти молодым.

Младший брат профессора, когда они с другими детьми играли в поезд, упал с веранды, у него стал расти горб. На юге Франции жил врач, изобретший какие-то корсеты, спины выправляющие. Деньги на поездку дал Нобель, у коего отец братьев служил на бакинских нефтяных промыслах. На пароходе, который Средиземным морем шел в Марсель, мальчики



играли в войну и кричали: «Vive le bour!» Этим был очень недоволен толстый господин с сигарой, всегда стоявший на верхней палубе. Помощник капитана сказал отцу, что дети своими выкриками раздражают господина Черчилля, который возвращается с войны с бурами, где попал в плен, был едва не расстрелян, бежал.

Часто повторял отец еще слова Черчилля: «Никогда не сдавайся. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда». Их он применял к другому своему любимцу — Рузвельту, преодолевшему непреодолимое. В сорок лет, на взлете политической карьеры, он заболел полиомиелитом, ему отказали ноги. Изнурительная гимнастика дала лишь тот результат, что он смог ходить на костылях. Во время своей первой предвыборной кампании он, зажав ноги в ортопедические приспособления, стоя ездил в открытой машине и произносил блестящие речи. Никто не догадывался, чего это ему стоило. Америка поверила Франклину Делано Рузвельту. Когда он баллотировался на второй срок, за него проголосовало наибольшее количество избирателей за всю историю США.

Но почти так же отец восхищался параличным Лениным, диктующим свои предсмертные статьи. Нотки восхищенья звучали — к удивлению Гройде — даже в его высказываниях о Сталине, сумевшем благодаря железной воле победить превосходящих его по всем статьям противников и создать небывалую по мощи государственную машину — ту самую, из-под колес которой отец трижды чудом выбрался.

Любовь к иностранным президентам чуть не стоила отцу партбилета; могло выйти и похуже. (Это и был третий и последний эпизод попадания в жернова системы.) Произошло это уже в сорок восьмом, когда он в лекции мельком упомянул в положительном контексте Рузвельта.

Когда открыли второй фронт, Петр Иванович Стремоухов по поручению обкома сделал доклад об Америке, где остановился и на биографии ее тогдашнего президента — по закрытым материалам ТАСС, которые обком же ему и предоставил.

Теперь тот доклад ему припомнили. Фигурировали записанные кем-то (мама подозревала, что Гонюковым) формулировки: «американская демократия», «забота о беднейших слоях населения», «выдающийся государственный деятель». Упоминалось и высказывание об увеличении Рузвельтом пособия по безработице (тебе было мало, говорила мама, что уже один раз из-за этого проклятого пособия ты из Семипалатинска еле унес ноги). Дело становилось нешуточным — и за более невинные высказывания (о достоинствах царской гимназии) учительницу математики только что отправили в Карлаг. Но Петр Иваныч хорошо усвоил девиз первого своего любимца не сдаваться никогда, никогда (говорил: он больше подходит *нам*).

Немедля, вскочив в товарняк, он выехал в область и явился в обком. За четыре года ничего не переменялось, в отделе пропаганды сидел тот самый инструктор, который заказывал лекцию об Америке и давал материалы. Не пришлось даже произносить заготовленную фразу: «Если меня собираются исключать за то, что я во время тяжелых испытаний советского народа выполнял задание партии, — пусть исключают». Похожую фразу по телефону произнес сам инструктор: «Доклад делался в другой политической ситуации и по заданию обкома». Дело замяли.

Из исторических событий отец предпочитал эпизоды характера романтического: как Пизарро выхватил меч и провел на высоте своего роста черту на стене дворцовой комнаты — досюда инки должны были нанести золота в качестве выкупа за своего плененного императора Атовальпо. По ходу дела сообщалось, что солдаты Пизарро победили не благодаря ружьям (их прицельность не шла ни в какое сравнение с луками аборигенов), а лошадям. Инки так боялись этих странных животных, позволявших сидеть воинам у себя на спине, что их многотысячные войска в панике бежали от небольшого отряда кавалеристов.

Любил повторять рассказ про единоборство инока Пересвета с татаринцем Челубеем перед началом Куликовской битвы: ни кольчуги, ни лат не было на Пересвете — только колыхался на его могучей груди большой медный крест.

И даже в старших классах рассказывал мне, как умилялась лондонская буржуазия, глядя, как Маркс, ползая на четвереньках по лужайке, катает на спине своих детей. Она не знала, что это ползает тот, кто роет ей могилу.

Раз-два в зиму ездил за дровами, давали билет на три сосны. Лет с четырнадцати отец начал припрягать к этому делу меня к сильному моему неудовольствию: сучковать по зад в снегу было тяжело и скучно; зимний лес, который так хорошо гляделся с лыжни, был противен, а поэтические снеговые шапки, стряхиваемые подрубаемыми соснами за шиворот, даже и бесили. Летом отец косил сено, вместе с дедом вскапывал огород — деду одному пятнадцать соток было не поднять.

Отца отдыхающего я помнил только в первые месяцы после приезда Василия Илларионовича, когда тот еще не служил, а после выигранной Второй мировой, она же Великая Отечественная, набирался сил, т. е. на выручаемые от продажи кое-какого трофейного барахла деньги пил шампанское и коньяк.

По вечерам они сидели с отцом под яблоней в подаренных Гуркой креслах из причудливо изогнувшихся сучьев (похожие, стоимостью в большие тысячи, я потом видел в отделах авторских работ московских магазинов). Я вызывался, чтобы находиться поблизости, на работу, коей в иное время был большой ненавидец, — полоть грядки.

Разговор свояков вертелся чаще всего вокруг московских ресторанов, дядей знаемых всегда, а его младшим родственником освоенных в год прокучивания наследства, которое образовалось из-за продажи дома в деревне: братья единодушно решили деньги отдать самому младшему — Петру. Слышалось: «Метрополь» (или «метрдетель» — Антон плохо представлял разницу), «Савой», «Националь». Один раз, когда обсуждался бывший ресторан Палкина, вмешался дед, обнаружив неожиданную осведомленность: рядом со столиком стоял еще один, поменьше, чтобы принесший блюда официант не мешал гостям.

— Но вы, Леонид Львович, кажется, не обедали в этом ресторане?

— В Вильне, когда я после окончания семинарии ждал места, открылся ресторан, где каждый зал, как печаталось в рекламе, был точной копией ресторанов Палкина в Петербурге или Тестова в Москве.

Как-то, когда из-за темноты уже невозможно стало полоть, Антон, чтоб не прогнали спать, пересказал слышанную от бабки кулинарную историю про повара одного из Людовиков, который закололся, увидев, что опаздывает рыба, заказанная к королевскому столу.

— Какие там Людовики, — сказал Василий Илларионович. — У нас, вблизи родных осин, был такой же случай.

Шеф-повару «Националя» поручили обслуживание по поводу премьеры «Анны Карениной» грандиозного банкета в Кремле — с участием вождя. Когда запыхавшийся метрдотель (главный над официантами, сообразил Антон) сообщил, что пора подавать горячее, над огромным противнем с котлетами деволяй лопнула двухсотсвечовая лампочка, висевшая в нарушение технологии без стеклянного колпака, и мельчайшими осколками осыпала все двадцать рядов котлет. Шеф-повар побледнел и выбежал в туалет; больше его не видел никто; ночной патруль нашел белоснежный халат с монограммой ресторана у Москвы-реки.

Если для техникума надо было что-нибудь выбить, посылали отца. В последний год войны стояла очень суровая зима, угольную норму к марту прижгли, студенты сидели в аудиториях в пальто и телогрейках. Отцу выдали огромный рулон ватмана, упаковали в рогожу, пришили в виде лямок подпругу от старого чересседельника и отправили в Караганду. Когда, рассказывал

отец, он в шахтуправлении раскатал по ковру свои ватманские рулоны, главный инженер заплакал. Впрочем, в рассказах отца так вели себя многие: «Сказал директор и сам заплакал», «сказал Макаренко и сам заплакал». Плакали Николай Островский и Калинин, бас Пирогов и бегуны братья Знаменские. Пересказывая Гройдо одну из отцовских историй о строительстве метро, Антон закончил привычным: «Сказал Каганович и сам заплакал». Гройдо тоже заплакал — от смеха, сквозь который можно было разобрать: «Лазарь... заплакал... этот сапожник...»

Поплакав, главный инженер выписал платформу антрацита. На этой же платформе пришлось возвращаться и отцу. В дом он вошел со словами «Черен я!» Осторожно снял дедов дождевик и повесил у двери; все подходили, скребли рукав ногтем и давали советы. Плащ неотмываемо покрылся угольной пылью, намертво ввевшейся в самые поры ткани.

— Если бы мы жили на Севере, — внес свой вклад Антон, — можно было бы его положить в то место, куда падает вода в водопаде Кивач.

— В сливное зеркало, — уточнил дед и добавил задумчиво: — Устами младенца...

Когда в паводок на мельнице спускали воду, жерновщик Федул подвязал дедов плащ под край корыта слива; через сутки он стал как только что пошитый.

Но ватман тоже не доставался просто. Его в золотоснабе выписывали бесперечь, но далеко, в Свердловске (по какому-то договору с Сибзолотом). За ним, конечно, посылали отца. Большой, как чемодан, тяжелый тюк он тащил на себе на вокзал, по всем поездом и пересадкам, сторожил в залах ожидания — камеры хранения или не работали, или были забиты, а тюк выглядел заманчиво; телеграмму в Чебачинск давать было бесполезно — поезда ходили без всякого расписания.

В Свердловске отец жил в гостинице «Урал»; ему сказали, что в ее ресторан приходит один из тех, кто расстреливал царскую семью в подвале дома Ипатьева, и если его угостить котлетой, которую давали по талонам, да еще в компот налить самогона, который можно купить после двенадцати ночи у дежурной, то он расскажет подробности.

Расстрельщик, еще нестарый крепкий мужик, рассказал, как добивали штыками царевен, и это видел еще живой царь, как стаскивали потом с него френч, как все шла и шла кровь из царевича Алексея — у него была какая-то болезнь, и она не сворачивалась.

Разрешали осмотреть и подвал с брызгами крови на стенах и пулевыми отверстиями, которые все трогали пальцем.

Когда отец все это рассказывал, бабка плакала и крестилась. На внутренней стороне крышки ее сундука был приклеен снимок царской семьи и отдельно — царевича Алексея в матроске, точно такой же, как у Антона.

В сентябре в техникуме не учились — студентов отправляли на уборочную в колхоз; в годовых отчетах писали: КПП — колхозная производственная практика, чтоб не спутать с настоящей ПП, проходившей в шахтах.

Петра Ивановича всегда назначали руководителем КПП. Он учил скирдовать (сам вершил стога), увязывать воз, строить шалаш, ходить за плугом (колхоз славился большой зяблевой вспашкой), управляться с быками — пахали на быках, что было не так плохо: четверка тянула трехлемешный плуг. Работал с азартом (как на себя, иронизировал дед), не признавая перекуров. Единственная привилегия, которую он себе присвоил, — раз в неделю бывать дома. Выходил он в субботу в сумерки; в полночь приходил в Чебачинск; возвращался в воскресенье, отмахав те же двадцать километров, — тоже к полуночи. Однажды отца подвез на тачанке секретарь райкома, направлявшийся в тот же колхоз. Он отказывался верить, что его пассажир вчера уже проделал этот путь, однако включил эпизод в отчет на обкоме как пример трудового героизма, потому что отец нес на плече — по пути, чего там — еще сверток с металлическими зубьями для конных граблей.

Василий Илларионович, посмеиваясь, говорил, что Ленин, придумывая свой социализм, рассчитывал именно на таких простаков-энтузиастов, но ошибся на несколько порядков, их хватило только на бревно, которое они тащили вместе с вождем на коммунистическом субботнике.

Но едва ли не больше времени у Петра Иваныча отымало чтение лекций. Некоторые считались платными (гонорар выдавали мукой, горохом, наволочками, гвоздями, повидлом). За лекцию о Ломоносове на стеклозаводе вместо обещанной соли вручили четыре кособоких графина. Бабка в преддверии сезона засола этот гонорар уже мысленно растворившая в банках и бочонках, сильно расстроилась; зять ее утешал: «Неправо о вещах те думают, Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов». Один из этих графинов сыграл роковую роль при попытке распить водку, полученную за сданную картошку: у него, как помним, отвалилось дно. За лекцию о десяти сталинских ударах расплатились чечевицей. «Все правильно, — сказал отец, брякнув на стол мешочек с крупой. — За Ломоносова — стекло, за вождя — чечевичную похлебку».

Но основной массив лекций проходил как общественное поручение. Узкой специализации не предполагалось: приходилось читать о сталинском плане преобразования природы, великом баснописце Крылове в связи с его юбилеем, восстановлении фабрично-заводского производства в послевоенный период, о флотоводце адмирале Ушакове и полководце генералиссимусе Суворове, об успехах советских спортсменов на Олимпийских играх — первых, в которых они участвовали. Серия докладов — Петра Иваныча даже по распоряжению райкома сняли с занятий — была посвящена труду товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Прочитав один такой доклад перед местными милиционерами, лектор спросил, все ли понятно. Старшина-казак ответил: «Атдэльные слова понымаем».

Всего больше хлопот доставляли лекции по международному положению; долгое время Стремоухов был единственным в районе (по территории равном, как подчеркивал секретарь райкома, половине Бельгии) лектором-международником. Из-за этого его заставили вступить в партию, от чего он долго уклонялся. «Неудобно, знаете, — говорил Гонюков, работавший уже в райкоме, где тоже приходилось читать лекции, — вас слушают наши товарищи, а вы — беспартийный».

Ночной образ отца был — пишущего, вырезающего и слушающего. Вырезающего — преимущественно; под шорох газетных листов Антон засыпал, под сочный звук стригущих ножниц просыпался на горшок. Газетные вырезки помогала делать мама, деда приспособить к этому делу не удалось, он заявил, что его тошнит от одних заголовков. Вырезки раскладывались по папкам: «Американские военные базы» (во время лекции вешалась карта полушарий, черными точками этих баз засиженных), «Братские компартии», «План Маршалла», «Руководящие документы». Последняя папка была самой тощей, но самой важной: с перечисления того, что в ней лежало, рекомендовалось начинать лекцию: «На сегодняшний день мы имеем главный руководящий документ: ответы товарища Сталина корреспонденту французской газеты „Юманите“ и два дополнительных: речь главы советской делегации товарища Вышинского на шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН и доклад председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Шверника на сессии Верховного Совета четвертого созыва».

Слушал отец радиостанции «Свободная Европа» и «Голос Америки», которые для простоты называл «Мировое господство». На самый высокий тополь в палисаднике была водружена десятиметровая жердь-антенна. Из Москвы — привезен приемник с круглой шкалой производства рижского завода ВЭФ, поступившего из Германии по репарациям. «Выхх! — говорил отец. — Качество. Одно слово — „Телефункен“!»

— Известная компания, — подтверждал дед. — Еще Гинденбург...

Но качество аппаратов любимой компании Гинденбурга помогало мало: «Мировое господство» беспощадно глушили. Правда, почему-то начинали не сразу (Егорычев даже построил теорию: сами любят послушать), и до того, как *запускали жернова*, удавалось услышать часть новостей. Утром приходил Гройдо, тоже имевший приемник; слушатели обменивались расслышанным сквозь рев и скрежет и его обсуждали. Отец особенно был недоволен отказом СССР получать помощь по плану Маршалла.

— Страна в развалинах!

— Идея изоляционизма, — говорил Гройдо. — То, в чем наш вождь всегда расходился и со своими противниками, и со сторонниками.

Антон, на своем подоконнике решая задачи по алгебре, записывал на промокашке шифром: «изоляционизм». Там уже находились, записанные другим секретным шифром, еще «инфляция» и «демпинг», значение которых, чтоб никого не волновать, следовало не спрашивать, а найти в словаре иностранных слов.

Читая в санаториях, отец иногда захватывал Антона, чтобы ребенок прокатился по морозцу и погулял в сосновом целебном лесу. Замерзнув, Антон заходил в столовую, где шла лекция. О плане Маршалла тут отец говорил совсем другое: Европа, принимая его, подпадает под пяту американского империализма, а СССР — нет. Антон не удивлялся, знал: так надо, как знала четырехлетняя дочка Кемпелей, что с мамой и папой надо говорить на одном языке, а с соседями на другом, ихнем. Удивляло Антона — много позже — иное.

На лекции о Китае отец говорил с искренним восторгом:

— Китайская Народная Республика при тотальной мобилизации, которая, как известно, дает двадцать пять процентов от общей цифры населения, может выставить сто миллионов здоровых мужчин!

И подымал вверх палец; Антон чувствовал, что ему очень хочется сказать «Выхх!», но на лекции неудобно.

Память услужливо подбрасывала другие похожие случаи: как восхищался отец — не на лекции, дома — мощью Красной Армии, когда она, победоносно завершив войну, стояла в центре Европы. Имея 15 миллионов под ружьем и опыт такой войны, она свободно могла железной лавою прокатиться до Атлантического океана! В этот момент, было видно, он не думает о последствиях для всего мира такой прогулки, не помнит того, что говорил о странах народной демократии — всегда с прибавкой: «так называемой».

Отвечая через двадцать лет на Антоновы вопросы, он подтверждал, что радовался искренне, но сознательно как бы заставлял себя не пропускать в эту радость сомнений, и это удавалось. «Иначе было б невозможно жить — нервная система не выдержала бы». Но дело объяснялось, похоже, не только боязнью раздвоения и стремлением к психическому самосохранению; Антон узнавал противовольное действие той же магии, которая окрашивала его высказывания о железной воле вождя. Прочитав в «Мастере и Маргарите» восхищенное описание грозного профессионализма людей с браунингами и бессонную работу огромного здания в центре Москвы, Антон уловил что-то знакомое. Магия силы. Даже автор «Собачьего сердца»...

Такого, впрочем, у отца было много. Сыздетства Антон слышал от него, что революция погубила русское крестьянство, а в год ее 50-летия он вдруг написал, что моя внучка Даша, а может, и ты доживете до столетия Октября! Уже не понять, по убеждению он писал или на всякий случай. Любимая поговорка его была: «Не красное солнышко — всех не обогреешь». А сам терпел бабкиных прихлебателей, живших у нас месяцами, принял в войну не имевшую даже продовольственной карточки тетю Ларису с двумя малолетними детьми, вытащил после окончания срока ссылки Татаевых из их дыры и устроил всех учиться и на работу, организовал

бесплатный юридический консультпункт, где сам же и писал за посетителей заявления и письма Сталину, все время хлопотал о каких-то ссыльных преподавателях, профессорах, кондитерах, музыкантах...

Вспоминать годы войны и послевоенную чебачинскую жизнь отец не любил, Антоновы ностальгические восторги по поводу натурального хозяйства не разделял.

— Работали как проклятые день и ночь. Сельскохозяйственный вековой цикл. У тебя экзамены или надо готовить новый для тебя предмет — помнишь, мне поручили преподавать психологию, было некому? Или завтра лекция по международному положению. А тут надо посадить или выкопать картошку — уйдет под снег, будем зимой зубами щелкать. Приехали заочники, сессия — а тебе позарез нужно на покос, трава перестаивается, не дай Бог, начнутся дожди... А зимой? Развести и наточить пилу (это я помнил: не вынося звука, бабка заматывала голову шалью, но замечанья зятю считала делать неудобным, теща-монстр — это у простонародья), переставить шпильки-баклуши, растягивающие телячью шкуру, сдирать мездру с той же шкуры, подвинтить ослабнувший пресс для свеклы... Рабство! И все равно было голодно.

— А мне помнится...

— Ты забыл, был мал, да и для детей мы, конечно, старались.

— А как все умели, знали, что капусту надо засаливать не в дубовом, а в березовом бочонке, как варить мыло, как приклеивать ткань яичным белком, как...

— И что из этого тебе пригодилось? Где ты найдешь теперь бочонок — любой? Зачем белок — есть клей «Момент». По своей привычке забивать голову всяким мусором ты небось помнишь и рецепт изготовления мыла? Я так и думал. Ну и? Варишь его в свободное от писания научных трудов время?

— Но это же было своеобразное творчество, как у средневековых цеховых мастеров.

— Творчество было у Гурки — дуги, санки, корзины. Ты его кресла плетеные помнишь? Секретарю райкома подхалимы решили к юбилею подарить мебель для веранды. Гурий плетеных кресел никогда не работал. Пришел к нам. Мама нашла в книге дореволюционную фотографию: Бунин где-то на юге в летнем ресторане сидит в ажурном кресле. И Гурка сделал такую мебель, что весь райком смотреть ходил. А у нас что было? Жестокая необходимость, категорический императив...

# И все они умерли

Дед умер накануне Пасхи. В последний раз придя в сознание, он спросил, какой сегодня день. Была Страстная Пятница. Проговорил: «Как хорошо... умереть...» И силился сказать что-то еще.

Антон знал, что с детства у Антона всегда было какое-нибудь желание: иметь настоящие фабричные лыжи, щенка, переныривать 50-метровый бассейн туда и сюда, увидеть океан, иметь большую библиотеку. О каждом очередном он привык сообщать деду. И всякий раз интересовался: дед, а чего бы хотел ты? Дед говорил: чтоб ты не мешал мне спать после обеда или: чтобы в «Правде» был хоть один процент правды. В последний приезд Антона сказал: умереть под Пасху, в Великую неделю.

На похороны Антон опоздал. В то лето он жил в маленьком забайкальском таежном селе, недалеко от которого хотел основать новый Тарбагатай, как в поэме Некрасова. Теток он предупредил, что телеграмму, если что, следует давать срочную, тогда из райцентра пригонят с нею моторку, на которой могут увезти и адресата. Но на почту послали Кольку, и хотя все ему объяснили, он сэкономил, дал обычную, на которой еще раз сэкономил, не написав про смерть; почтальон не стал торопиться.

Добирался он четверо суток; впервые в поезде, самолете ничего не писал и не читал. Но думал не о деде — о смерти вообще. Само понятие о ней вошло в него с дедом. Он всегда был старше всех, и когда в Антоновом сознании возраст связался с нею и он вдруг понял, что она больше всего угрожает деду, он плакал полночи, закутав голову одеялом.

Но годы шли, умирали соседи, учителя, все были моложе деда, а он все жил и жил, здоровей и сильнее молодых, и идея смерти померкла в сознании Антона.

Вернулась уже в университете, в связи с Моцартом и — особенно остро — с Пушкиным. С какого-то времени он начал переживать смерть Пушкина как личное горе, свой день рождения, совпадающий с датой его смерти, праздновать перестал, потому что почти заболел в этот день и несколько не удивлялся явлению стигматов — когда в день распятия Христа у некоторых людей появляются кровоточащие раны на запястьях и ступнях.

— Ты когда-нибудь думал, — говорил он в волненьи Юрику, — что было бы, проживи Пушкин еще лет десять! Если б он завершил «Историю Петра», воплотил замысел о войне двенадцатого года, написал том стихов и несколько поэм вроде «Медного всадника»! Непредставимо! А Моцарт? — вопрошал он, наслушавшись его и начитавшись о нем в год 200-летнего юбилея. — Умер в тридцать пять автором не только гениальных вещей — это я вывожу за скобки, — но и количественно одним из самых плодovitых композиторов. Он написал больше великого Верди, пережившего его на пятьдесят лет! А если бы прожил столько же? Ведь он уже и так начал колебать мировые струны. И было решено, что допустить этого нельзя.

— Кем?

— Тем, кто решает все. Если б Моцарт прожил еще даже не пятьдесят лет, а половину этого срока, он стал бы равен Ему. И он умер. «Тут ему Бог позавидовал — жизнь оборвалась». Безвременная смерть только этих двух никогда полностью не примирит меня с Ним. А она — правило. Гете, Толстой — редкие исключения.

Вылечил тот же Юрик. Он сказал, что несмотря на свой атеизм, не одобряет такую теорию за богохульство и предлагает свою — менее богохульственную.

— Умереть вовремя — благо. Представляешь, что случилось бы с Гагариным через несколько лет, не разбейся он недавно? Толстый, лысый чиновник, профессия которого — заседать в президиумах... А так — на века осталась улыбка космонавта! Рылеев — ты сам говорил —

средний поэт. Повесили в молодости — национальный герой. А Шолохов? Умри он сразу после «Тихого Дона», не заголившись перед всем миром своей глупостью и махровостью, — все бы рыдали по безвременно ушедшему гению и диссиденты не трудились бы над брошюрами о настоящем авторе великого романа!

— Как будто писатель живет для того, чтобы нам легче было составлять его биографию. Так ты скажешь, что и Иисус Христос умер вовремя.

— Ну, это чистый случай. Не распни они его — не было б христианства, тебе как историку стыдно...

Но лекарство оказалось действия узконаправленного и недолговечного. По новой все началось со смерти графа Шереметьева и нескольких любимых профессоров.

Какие-то африканцы ощущают в своей жизни постоянное присутствие *поменявших миры*. Ставят им еду, разговаривают друг с другом так, чтобы тем было понятно. И получают от этого радость. Антон чувствовал, что его покойные учителя и друзья-старички — всегда с ним, видел их во сне, беседовал с ними. Но испытывал только боль.

Вирус проникал в сердце и мозг все глубже. Жаль было уже умерших всех.

Как-то, листая в библиотеке подшивку «Нового времени» 1890-х годов и в очередной раз поражаясь информативности суворинской газеты, он вдруг осознал: все авторы этих статей по переселенческому вопросу, богословским проблемам, очеркисты и прозаики, диспутанты о теории Дарвина и возможностях радио, составители отчетов о дебатах во французском парламенте, давшие объявления зубные врачи, кухарки, гувернантки, хиромантки, портные — все они покойники!

Но самым тяжелым переживаньем была хлынувшая после оттепели на экраны кинохроника девяностых годов: эти резво, в ритме старого кинематографадвигающиеся люди умрут, и почти все уже умерли; душа торопилась отдохнуть на редких младенцах — они-то уж наверняка живы! С надеждою вглядывался он в самые молодые лица — может, кто из этих солдатиков или студентов еще здоровствует?.. Но представив все революции, войны, тифы, испанки, голода, лагеря, говорил себе: навряд.

Он стал скрывать, что не может смотреть фильмы с недавно умершими актерами, нечто противоестественное ощущая в том, что комедийные трюки выполняет человек, которого уже нет, как можно смеяться? Странно, но пластинки он воспринимал спокойно; голос — то было что-то другое, иная, бестелесная субстанция, им говорит душа.

Однако от этих остались кинокадры, голос, фотографии, хотя бы газетные объявления. Но как быть с теми, от кого не осталось *ничего*?

В первый же день по приезде Антон пошел в пятиэтажку к столяру Борису — уговорить поставить крест и оградку. Это было непросто, даже с добавлением бутылки-другой «Столичной». Выпить Борис любил, но еще больше — стоять у заборчика или курить на ступеньках своего подвала-мастерской, или в сотый раз состругивать граффити с ее дверей, которые на другой день аккуратно возобновляли мальчишки.

Перед подвалом стояла дворничиха — толстая Валя.

— Борис? Утонул.

— Как?..

— Очень просто. Пошел в воскресенье купаться к плотине и ... Схоронили уже. Гурка гроб сколотил, мы с ним только и провожали. Мать давно померла, женой не обзавелся. Комната — жэковская, фотки были — отнесла в котельную, Никите — куда их?

Антон подошел к столярке. На свежеструганном верхнем карнизе уже чернели детским почерком написанные буквы. Постоял у заборчика с тремя новыми штакетинами. «Устроен сложно этот свет: Чтобы являться в ЖЭК, Чинить забор, сбивать багет Родился человек. И лишь



исписанный карниз Ребяческой рукой: „Борис, Борис, погонщик крыс“ — Над дверью мастерской». Надо бы добавить что-нибудь вроде: «Состружат завтра и карниз Небрежно, впопыхах. Останется лишь бледный стих Среди брошенных бумаг».

Однажды Юрик пришел печальный: умер академик Фокин.

— Как? И он?

— И он. Покойный извинит меня за неуместную улыбку... Ты напомнил мне случай, когда, кажется Хрущев спросил у президента Финляндии, как у них со смертностью. Тот ответил: «Пока стопроцентная». А эти твои возгласы на семидесятилетии нашего скульптора: «Я не хочу, чтобы все умерли!» Правда, тогда мы все уже хорошо выпили, но кто-то все же спросил: твой друг не того? А как у него с отношением к другим естественным законам? Прости за интимный вопрос: ты все еще не спишь по ночам из-за покойников? Да, да, Лиля рассказала. Хотела посоветоваться, не пора ли вести тебя к психиатру, когда узнала, что тот профессор, из-за которого ты не спал, умер десять лет назад.

Однако очередной сеанс психотерапии Юрик опять решил провести сам.

— Тебе жаль не их, а себя, — жестко сказал он. — Кому из твоих друзей, кроме меня, меньше семидесяти? Ты, в сущности, тоскуешь о том, что скоро не останется никого, с кем ты бы мог говорить о своих любимых девятисотых, о золотом веке. Тебе ведь на самом деле современный мир неинтересен — только ты это хорошо скрываешь. Когда еще ты писал: «И нет уже следов былого, о мире том с кем молвить слово». Для тебя главная трагедия века — гибель «Титаника» — как для них. Но они-то еще не видели двух таких войн! Выражаясь твоим языком, не скажи в бане, шайками закидают...

Нет, Юрик неправ — не уходящих собеседников мне жалко и даже не нашего бытия, которое будет другим, когда уйдут носители той жизни и его станут определять дети пятилеток. Мне жалко всех. Может, прав Егорычев? «Тебе не подходит быть историком. У историка должно быть холодное сердце». Он сказал это, когда Антон пытался передать, что ощущает, листая старые газеты.

Университетский профессор, отец которого был знаком с Кожевниковым и Петерсоном-старшим, дал Антону первый том Николая Федоровича Федорова. Антон читал всю ночь. Утром без звонка прибежал к Юрику.

— Ты знаком с философией Федорова?

— В общих чертах.

— Это же великое учение!

Выслушав сбивчивое и подробное изложение идей философа о воскрешении отцов, Юрик, подумав, сказал:

— Или ты неясно излагаешь, или я плохо понял. Тут какая-то несоединимая смесь религии и позитивизма. Духовное воскресение в церковном смысле — это я понимаю. Но он, кажется, хочет воскрешать и материальную оболочку, самые тела? Извини, но мне это напоминает гоголевскую Коробочку: «Ты что, будешь их из земли выкапывать?». Я принимаю идею, что можно достигнуть бессмертия, переписывая информацию из старого мозга, который должен умереть, в молодой или в созданный искусственно, а когда и он состарится, износится — еще раз, и так до бесконечности, то есть передавать человека по телеграфу, как говорил Норберт Винер. Но это не коснется уже умерших. Интеллектуальную и психическую информацию с каждого из них не списали, и он ушел навсегда — как целостность, а осколки ее в его текстах — именно всего лишь жалкие осколки.

— А великий поэт? Он сам потрудился себя записать, да как! Внутренний мир Пушкина я знаю лучше, чем твой, хотя слушаю твое глаголение чуть не ежедневно уже пятнадцать лет!

— Вот и начинайте свою деятельность по воскрешению с него, мы вам в ножки

поклонимся.

В первый день по приезде Антон на кладбище не пошел, на его глинистый косогор после дождя было не взобраться. Он решил разобрать дедовы бумаги — заживаться здесь не хотелось: дом уже принадлежал Кольке. Два месяца назад он за взятку стремительно оформил справки о невменяемости стариков, потом опекунов, а затем и право на владение собственностью.

Бумаг почти не оказалось — на другой день после похорон Колька, перебрав их в поисках облигаций, сжег почти все, только кое-что Тамара успела вытащить уже из растопочной корзины: несколько писем сыновей с фронта, бесплатный билет Управления Виленской железной дороги на 1894 год, «Пионерскую правду» с кроссвордом, составленным учеником 4-го класса Антоном Стремоуховым, газетную вырезку со статьей деда «Сейте люцерну» и его брошюру под тем же названием, о существовании которой дед никогда не упоминал. Антон открыл ее и зачитался: это был тот исчезнувший милый его душе язык, которым писали Докучаев, Костычев, Тулайков, не боявшиеся в научном изложении живого словечка, просторечия и метафоры. На десятой странице против абзаца о беспочвенности мнения о преимуществах летних посадок люцерны авторской рукой было написано: «Аргументацию выкинули страха ради иудейска пред Лысенкой».

Жальче всего было дедовой толстой записной книжки, куда он вперемежку заносил и выписки из книг, и свои мысли. От нее случайно остался в тумбочке выпавший листок — неясно, с дедовским текстом или выпиской. По почерку время не определялось: рука деда и в последний месяц жизни была тверда, как тридцать, сорок лет назад, и глаза, как и тогда, не знали очков.

«...душа моя будет смотреть на вас оттуда, а вы, кого я любил, будете пить чай на нашей веранде, разговаривать, передавать чашку или хлеб простыми, земными движениями; вы станете уже иными — взрослее, старше, старее. У вас будет другая жизнь, жизнь без меня; я буду глядеть и думать: помните ли вы меня, самые дорогие мои?..»

Разобрали вещи: костюм и пальто деми («а'нглийский драп»!), купленные на прадедовское валютное наследство, присланное из Литвы в 29-м году, старые шелковые галстуки, знаменитую водонепроницаемую крылатку. В любимом бостоновом костюме, сшитом еще до Первой мировой войны, трижды лицованном, деда положили в гроб.

На его мощной и стройной фигуре все это выглядело старомодно-изящно, сейчас же показалось ужасающе древним и ветхим.

— Складывай в мешок вместе с рубашками, — сказала тетя Таня. — Вечером отнесешь к Усте, отдаст своему пьянице. Только чтобы баба не увидала.

— И это вся его одежда? — потрогала мешок Ира. — Кабы все носили вещи так долго, не надо было бы создавать новые текстильные фабрики. (Она только что закончила в своей библиотеке устройство стенда про текстильную промышленность.)

— Дед говорил: вещи живут долго, дольше человека. Но у него есть вечная душа.

На другой день к вечеру, как подсохло, отправились с Тамарой на кладбище.

— Надо обходить. С этого боку недавно двух свиней сбросили дохлых.

Могилу долго искали, Тамара не запомнила: «Плакала, плохо видела». Кресты, многие полусгнившие и поваленные («повапленные», сказала Тамара), сварные пирамидки со звездочками на штырях, редкие каменные надгробия. «Федора Терентьевна Пальчак. Мартемьян Ксаверьевич Пальчак». Ей было 95 лет, ему 97. Умерли они в один день.

По странному совпадению рядом оказалась могила, где двое тоже умерли в один день.

— Жених и невеста. Разбились на мотоцикле. В пятницу собирались уже записаться, а в четверг он ее повез покататься — и оба насмерть. Выпивши был.

«Бойко Петр Афанасьевич. Лауреат Сталинской премии III степени». Единственный

лауреат, гордость Чебачинска, богатырь, борющийся с приезжим цирковым атлетом Дмитрием Бедилой. На лауреатские деньги купил «Победу» и, пьяный, врезался в столб на следующий день. Дорогов. Гудзикевич. Ко'рма. Родители однокашников. Вьюшков Юрий. По датам мог быть его одноклассником. Как того звали? Знакомых фамилий было больше, чем в городе.

Подошли к дедовой могиле. Тетка перекрестилась.

— Ну, что скажешь нам?

Антон, не понимая, смотрел на глинистый, начавший подсыхать могильный холм, на расплывшуюся надпись на ленте. Цветов не было — видимо, сразу украли.

Здесь лежит тот, кого он помнит с тех пор, как помнит себя, у кого он, слушая его рассказы, часами сидел на коленях, кто учил читать, копать, пилить, видеть растение, облако, слышать птицу и слово; любой день детства невоспоминаем без него. И без него я был бы не я. Почему я, хотя думал так всегда, никогда это ему не сказал? Казалось глупым произнести «Благодарю тебя за то, что...» Но гораздо глупее было не произносить ничего. Зачем я спорил с ним, когда уже понимал все? Из ложного чувства самостоятельности? Чтобы в чем-то убедить себя? Как, наверно, огорчился дед, что его внук поддался советской пропаганде. Дед, я не поддался! Ты слышишь меня? Я ненавижу, я люблю то же, что и ты. Ты был прав во всем!

В памяти всплывали какие-то мелочи. Его словечки, фразы: духовник деда был человек *богослуживый*, а не сделавший карьеры старик-дьякон — *дерзословный*; в семинарии все учили *вдолбляжку*; лысенковцы назывались не подонки, а *поддонки*, что было, конечно, не в пример обиднее. Свойство отца Антона всегда чем-нибудь восхищаться (американскими президентами, бесчисленностью китайской армии, мощью штангиста Новака, мастерством шпионов и силой НКВД, энергией Ломоносова) дед именовал словом *адмирация*, видимо, семинарским — его не оказалось ни в одном словаре. Любил выразиться изысканно (*разменяться письмами*) или возвышенно: «В прошлую ночь не свел века с веком». Самые сильные его ругательства были: *чернь безмозглая* (про советскую номенклатуру) и *животное* (бабка ругалась — *собачье мясо*).

Как человек, не способный сказать кому-либо гадость, Антон любил остроты великих людей, которые, похоже, умели это делать очень хорошо, и собирал их по газетам, журналам, отрывным календарям. Поклонница сказала Гейне, что отдает ему все свои мысли, душу и сердце. «От маленьких подарков, — поклонился поэт, — стыдно отказываться». Актриса, которую похвалил Оскар Уайльд, воскликнула с притворной скромностью, что эту роль следовало бы играть женщине молодой и красивой. «Вы доказали обратное», — сказал писатель. «Второго не читал, — заметил дед, — но, кажется, он был джентльмен. А судя по историям из твоих газет, и он, и германский поэт были обыкновенными хамами на советский манер».

Приносил Антон советские исторические романы, но успеха не имел.

— Прежние исторические писатели — Данилевский, Дмитриев, Кондратьев, написавшие целую библиотеку, может, и не обладали особыми талантами, но были образованные люди, знали источники, древние языки... А этот ваш исторический романист пишет «олеворучь», видимо, не подозревая, что его герои говорили «ощую» и «одесную». А какая-то дама в своей повести, уже про современность, удивляется, как могли появиться такие неприличные фамилии, как Срачица, не ведая, что это указывает только на то, что фамилия очень старая: срачица — древнерусский сосуд для питья.

Современной литературы дед вообще не любил — ни отечественной, ни зарубежной. Приезжая на каникулы, Антон пытался подсовывать ему «Иностранную литературу». Прочтя повесть, где какой-то японец, выйдя из дому в пижаме, уселся в лужу, ему было мокро и мерзко, но он все сидел, дед сказал, что это стремление омерзить и в конечном счете унижить человека в литературе пройдет, как болезнь, она перестанет изображать дегенератов и превращение в насекомых и вернется к обычным и вечным чувствам и ситуациям. Предсказание, в отличие от

дедовых других, не подтвердилось.

По всякому поводу любил уколоть кого-нибудь из советских классиков. Антон прочел ему из собрания сочинений Маяковского рекламные стихи про папиросы «Ира».

— В мое время такое уже было, фирма Шапошникова рекламировала свой товар: «Взгляни справа, взгляни слева — всюду папиросы „Ева“». Правда, никому не пришло бы в голову перепечатывать это в книгах стихов.

В связи с современной литературой вспомнился эпизод почти комический. Антон процитировал строки, как «мальчики иных веков, наверно будут плакать ночью о времени большевиков». Дед понял так, что мальчики будут плакать, жалея тех, кто жил в это время, но ни о чем не спрашивал, полагая, что стихи — из тех листков на папиросной бумаге, которые привозил из Москвы внук.

Все всплывало в виде какого-то калейдоскопа, настриженного из кусков быта. Великим постом в райпотребсоюз завезли ливерную колбасу; Тамара полдня стояла в очереди. За ужином ели эту колбасу, намазывая на хлеб; дед по просьбе Антона объяснял, что такое «ливер».

— А как же пост, Леонид Львович? — подколот отец. — Не соблюдать, помню с ваших же слов, дозволяется только болящим и путешествующим.

— Мы приравняемся к путешествующим. По стране дикой.

— Почему ж дикой?

— Вы правы, виноват. Одичавшей. Как вы иначе назовете страну, где колбасу, коей раньше и кошка брезговала, дают по карточкам раз в полгода?

— Что ж вы не уехали из этой дикой страны в восемнадцатом, с тестем?

— И бысть с нею и в горе, и в нищете, и в болести.

Но вспоминался и другой их разговор, во время которого отец так поставил чашку, что расколол блюдце, которое бабка вывезла из Вильны и которым очень дорожила. Дед оправдывал коллаборационистов из бывших кулаков и прочих репрессированных.

— Советская власть отняла у них все. Возьмите нашего Осьминина. В ссылке погибла вся семья. Обманом вернулся — не на свою Орловщину, а в Курскую губернию. Узнали, посадили. При немцах вышел из тюрьмы. Куда податься?

О вере дед высказывался редко, но не сомневался, что она в Россию вернется.

— Я не увижу, ты — возможно, дочь твоя увидит наверное. Но какова она будет, эта вера? Ведь вера — не лоб перекрестить в храме на Пасху или Рождество. Это исповедь, молитва, пост, жизнь по нашему православному календарю. Воцерковление идет веками и годами, начинается с младенчества, с семьи.

За все последние чебачинские месяцы больше всего дед удивил Антона одним своим признанием — как раз год назад, тоже в Великую неделю.

— Ты знаешь, какие греховные мысли посещали меня в последний год, когда я еще ходил? — дед притянул его голову к себе и громким шепотом проговорил: — Блуд-ны-е!

Юрик сказал, что в девяносто пять этого не бывает. Но за три года перед тем дед еще больше поразил неожиданным интересом к статье из привезенного Антоном польского журнала о самых известных топ-моделях с их фотографиями. Правда, под конец дед сказал, что в его время такие женщины были не хуже: «Только их иначе называли».

— В мое время женщин уже допускали в церковный хор. Раньше? Были дисканты. Но иереи и жульничали: поставят стриженую девицу — издали как бы отрок... Больше всего мне нравилось постное пение, неторжественное. А из торжественного — здравица царствующему дому. Как ее провозглашали архидиаконы Розов или Лебедев!

— Когда я поступил в семинарию, не было никаких аэропланов, авто, телефон и электричество только начинались... А теперь? Как вместить это в сознание?

Кажется, он так и не вместил. До конца воспринимал радио как чудо: безо всяких проводов — через тысячи километров! И часто оговаривался, называя это чудо беспроводным телеграфом. Заразил удивленьем и Антона, а тот пробовал передать его друзьям, но они, хотя и не знали, как передаются радиоволны, почему-то не удивлялись.

Дед знал два мира. Первый — его молодости и зрелости. Он был устроен просто и понятно: человек работал, соответственно получал за свой труд и мог купить себе жилье, вещь, еду без списков, талонов, карточек, очередей. Этот предметный мир исчез, но дед научился воссоздавать его подобие знанием, изобретательностью и невероятным напряжением сил своих и семьи, потому что законов рождения и жизни вещей и растений не в состоянии изменить никакая революция. Но она может переделать нематериальный человеческий мир, и она это сделала. Рухнула система предустановленной иерархии ценностей, страна многовековой истории начала жить по нормам, недавно изобретенным; законом стало то, что раньше называли беззаконием. Но старый мир сохранился в его душе, и новый не затронул ее. Старый мир ощущался им как более реальный, дед продолжал каждодневный диалог с его духовными и светскими писателями, со своими семинарскими наставниками, с друзьями, отцом, братьями, хотя никого из них не видел больше никогда. Ирреальным для него был мир новый — он не мог постичь ни разумом, ни чувством, каким образом все это могло родиться и столь быстро укрепиться, и не сомневался: царство фантомов исчезнет в одночасье, как и возникло, только час этот наступит нескоро, и они вместе прикидывали, доживет ли Антон.

Вечером с бабкой, Тамарой, тетей Таней, дядей Леней, Ирой посидели, помянули, выпили. Помянули и отца Антона. Дед его любил, сказала Тамара, говорил: «Какая энергия!» А еще говорил про него, добавила тетя Таня, — семнадцать лет прожить с тестем и ни разу не поссориться! «А спорили часто, — сказала Ира, — ты помнишь». Антон помнил.

Спели «Вечерний звон» — в первый раз без дедовского «Дон! дон! дон!» Бабка сидела, закрыв глаза, дядя Леня молчал, тетки плакали. Через несколько лет Антон будет петь его дуэтом — только с мамой. Когда пропоют «И крепок их могильный сон, Не слышен им вечерний звон», она скажет: «Было нас девятеро. И все они умерли. Осталась я, последняя из дедовой фамилии. А потом, — повела она своим чистым высоким голосом, — „И уж не я, а будет он В раздумье петь „Вечерний звон““! Ты будешь петь. Один».

К ночи зашел Гройдо, вернувшийся тоже с поминок — сороковин по Егорычеву.

— Умерли все. Там я узнал о кончине профессора Резенкампа. Из друзей вашего дедушки остался только я.

(Он умер через три недели.)

Стал говорить, как дед повлиял на него.

— Я был убежденным атеистом. И впервые колебнулся в разговоре с Леонидом Львовичем о Багрицком.

— О поэте? С дедом?

— Собственно, говорила жена, она была с Багрицким знакома, стала читать вашему деду «Смерть пионерки». Сначала, разумеется, «нас водила молодость в сабельный поход», а потом и не только. Леонид Львович, человек вежливый, слушал. В том месте, где умирающая девочка отталкивает крест, говорится, что он упадет на пол. И знаете, что он сказал? Даже у атеиста-одессита, революционного поэта, в стихотворении, безбожном по заданию, — даже у него именно так, только так сказались о кресте. Не падает, а *упадает!*

Вспомнил Борис Григорьевич еще одно, прозвучавшее как последний дедов привет. Он сказал, что в свои предсмертные дни хотел бы повидаться с о. Иосифом, которого любил больше других братьев и который скончался в харьковской тюрьме в двадцать девятом году. Потом помолчал и прибавил: «За восемьдесят лет сознательной жизни полностью меня понимал

только один человек, на шестьдесят лет меня моложе. Жаль, что он далеко». Кто это был, Гройдо не знал или лукавил. Ровно на шестьдесят лет моложе деда был Антон. Я был плохим сыном, мужем, неверным любовником, средним отцом. Но больше всего меня бы огорчило, если б дед считал меня плохим внуком.

Антону все хотелось узнать, что делал и говорил дед в последние дни.

— Что делал? — тетя Таня подумала. — Лежал у себя в боковушке. Только раз, за неделю до смерти, захотел в сад. Мы с Лентей вынесли его на кресле. Он посадил тут каждое дерево. Березку свою любимую тихонько погладил.

— Про тебя говорил, — сказала Тамара. — Что когда в позапрошлом году он написал всем внукам письма с просьбой прислать по пятьдесят рублей, прислал ты один.

Вспоминать было мучительно стыдно: посылая деньги, он думал — другим они нужнее, зачем они деду в его возрасте?

В эти дни у бабки был последний в ее жизни проблеск сознания, как будто кто-то хотел дать ей попрощаться с тем, с кем она прожила семьдесят лет. За два дня до кончины он ее позвал и просил у нее прощения.

— За что? — рыдала баба. — За что я должна простить тебя?

— Я обещал тебе счастье, покой, довольство, а дал бедность, беспокойство и изнурительный труд. Я думал, что могу предложить тебе хорошую жизнь, потому что был молод, потому что многое умел, потому что был силен.

— В этом месте, — вмешалась в рассказ Тамара, — он выпростал из-под одеяла руку и согнул в локте.

И живо представил Антон, как покатился под засученный рукав круглый шар, и впервые заплакал.

— Но ты же не виноват, — говорила сквозь слезы баба, — что они отобрали у нас все.

— Они отобрали сад, дом, отца, братьев. Бога они отнять не смогли, ибо царство Божие внутри нас. Но они отняли Россию. И в мои последние дни нет у меня к ним христианского чувства. Неизбывный грех. Не могу в душе моей найти им прощения. Грех мой великий.

В предсмертные часы молчал, хотя был в уме и памяти. Дочери упрашивали: «Скажи что-нибудь». Но он лишь тихо улыбался. «Сказал только что-то про немоту перед кончиною. Это стихи, Антоша?»

Это было их любимое с дедом издавна стихотворение Некрасова. Антону больше всего нравилось: «На избушку эту бревнышки Он один таскал сосновые», казалось, что это про деда — он сам видел, как тот нес на плече пятивершковое бревно.

«Немота перед кончиною подобает христианину».

1987, 1997–2000

notes



Прекрасная мельничиха (*нем.*).



Шлюха (нем.).

Спи, глазок, спи, другой (*нем.*).

Сквозь грозы сияло // Нам солнце свободы (нем.).